

Н.Н.ЛЬВОВ.

СВЕТ ВО ТЬМЕ

ОЧЕРКИ ЛЕДЯНОГО ПОХОДА



СИДНЕЙ
1972

ВСТУПЛЕНИЕ.

"Что такое армия? Это не генерал Врангель с его штабом, не офицеры и солдаты первого корпуса Кутепова, не донцы и кубанцы под начальством генерала Абрамова и Фостикова.

Армия — это что-то гораздо большее.

Это три года неустанного напряжения воли, человеческих страданий, отчаяния, тяжких лишений, упадка и нового подъема, подвиг русского мужества, непризнанный и отвергнутый.

Сменялась осень на зиму, наступала весна и вновь чередовались лето, осень и зима, а борьба, поднятая двумястами юнкеров и кадет в Новочеркасске, всё продолжалась.

Она продолжается и теперь в новых условиях, но всё та же борьба, и те, кто бьёт щепень на дорогах Сербии, копает лопатами землю, работает в рудниках Перника, в тяжелом труде добывая насущный хлеб, делает всё то же русское дело.

Прошрое продолжает жить в людях. Армия воплотила в себе это прошлое.

Армия это не только те, кто остался в живых, но и все те, кто лежит под могильным крестом, засыпанный землею.

Армия — это трагическая смерть Каледина, это тени замученных атамана Назарова, Богаевского, Волошинова, героическая гибель есаула Чернецова, это тело Корнилова, преданное поруганию безумной толпой красноармейцев, это прах Алексева, перевезённый для погребения в чужую землю, это коричий, смеяющийся один другого во время урагана среди крушения, это русские города, освобождённые один за другим от Екатеринодара до Киева и Орла, это грязная, красная тряпка, разорванная в клочки, это русское трехцветное знамя.

Армия — это скрытые муки матери, посылающей своего последнего сына в смертный бой, это мальчик во главе своей роты Константиновского училища, умирающий при доблестной защите Перскопа.

Вот, что такое армия".

/ "Русская армия на чужбине" Н.Н.Львов
Белград 1923 /.

.-.-.-.-.-

Очерки ледяного похода — "Свет во тьме" — были написаны моим отцом и помещены в газете "Возрождение" в 1926 году.

Получить все номера, в которых были напечатаны воспоминания моего отца об этом походе, я не мог — недостаёт двух номеров.

Поэтому в этом издании "Света во тьме" нет описания некоторых событий первого Кубанского похода.

Очерки ледяного похода — не исторический труд, не критический разбор начала гражданской войны на юге России и не газетные статьи политика, с партийным пристрастием описывающего события этого времени так, как он желает их понимать.

"Свет во тьме" — это запись тех жгучих чувств и мыслей, которые сами вырываются из души и создают правдивый и страстный рассказ о трагедии России.

"Свет во тьме" — это тот свет, который озарял благородные и смелые души и освещал им путь чести, крови и страданий; тот путь, по которому должны были идти те, кто во мраке безумия и преступлений не утратил сознания своего долга перед гибнущей Россией.

В Кубанский поход пошли 3.000 человек — три тысячи против тьмы ненависти и злобы к себе, предательства и равнодушия.

"Порыв по своей возвышенности, по своему бескорыстию, по самоотверженности и мужеству столь исключительный, что трудно отыскать другой подобный в истории. Неувенчанный лавровым венком, этот подвиг тем бескорыстнее, чем менее он оценен людьми".

/ "Русская армия на чужбине" Н.Н.Львов /.

Мой отец в беженстве, в нужде и лишениях, не впал в уныние, но до конца своей жизни верил, что при всех обстоятельствах, в других условиях, в других формах, без оружия и помощи со стороны, казалось бы, в безнадежном положении, но всё та же борьба, начатая добровольческой армией, продолжается и закончится победой духа над тленом.

/ "Щечи, щиты и крепость стен,

Пред Божьим гневом, — гниль и тлен".

М. В. Ломоносов /.

В это и верил мой отец. И это мысли не мечтателя, не навязчивые идеи безнадежного оптимиста, но реальные мысли не сложенного жестокими испытаниями духа.

И тот, кто не завяз в болоте современного бездушия жизни, не может не видеть той непрерывной борьбы с коммунизмом, того света, который был захвачен на Дону 54 года назад и остается не угасшим во многих русских сердцах в нашей России.

.....
Я сердечно благодарен своим добрым друзьям, без помощи которых я не мог бы издать "Свет во тьме": Ивану Емельяновичу Поповскому, Евгению Феодоровичу Псареву и доктору Николаю Павловичу и Вере Ивановне Протопоповым, участникам белого движения на юге России.

Я благодарен им не только за их труд, но и за то чувство понимания и сердечности, которое было проявлено ими в этом деле.

Б. Львов.

75 Burwood Rd. W e l f i e l d 2191. A u s t r a l i a .

.....

Пояснение к стр. 6-ой.

В Кисловодске находилась Великая Княгиня Мария Павловна /мать Вел.Кн. Кирилла Владимировича/ с синовьями.

В. Л.

.....

С В Е Т В О Т Ы М Е .

ОЧЕРКИ ЛЕДЯНОГО ПОХОДА.

"Мы идем в степи, вернемся, если будет милость Божия. Но нужно зажечь свеч, чтобы оставалась хотя бы одна светлая точка среди охватившей Россию тьмы".

Слова генерала Алексева.

I.

Вооруженная толпа ворвалась в Зимний Дворец. Министры схвачены и посажены в Петропавловскую крепость. Керенский бежал. Временное правительство пало.

Восемь месяцев шла игра в революцию. Комедия кончилась и началась трагедия — оргия дикая и кровавая.

Толпы хлынули с фронта. Дезертиры, бродяги, убийцы и среди них шпионы, провокаторы, уголовные, выпущенные из тюрем, наводнили поезда, составы, вокзалы, улицы городов, площади, базары, села.

Всюду насилия, грабежи, убийства и погромы.

И в эти дни ужаса и крови на маленькой станции Новочеркасск высаживается генерал Алексеев.

Я видел его. Он жил в вагоне на запасных путях. В штатском платье, один, без всяких средств, но как всегда, спокойный... Все тот же глубокий, вдумчивый взгляд из под нависших бровей.

Не для того, чтобы найти себе убежище, приехал генерал Алексеев в Новочеркасск, а для того, чтобы упорно продолжать свое дело, а делом его была русская армия.

Генералы Корнилов, Деникин, Лукомский, Марков заключены в Быховской тюрьме. Вскоре зверски убит ген. Духонин. Крыленко с шайкой убийц разгромил Ставку.

Ни следа не осталось от того, что несколько месяцев назад было могучей русской армией.

Русского офицера не стало: кто убит, кто выгнан, кто скрылся.

Не стало и русского солдата. Был дезертир-предатель, вооруженная толпа бродяг и громил.

Натиск германских армий, вся сила германской техники не могли сломить русской мощи; подточила ее моральная ржавчина.

Армия пережила постыдные дни керенщины, наступали дни Брест-Литовска.

Но ничто не в силах поколебать генерала Алексева. Шульгин вспоминает, что прискакавший с ним из Киева Лопуховский был четырнадцатым записавшимся в строй Алексева.

Четырнадцатый доброволец из 13-ти миллионной русской армии. Нелегка была задача!

На Дону к генералу Алексееву относились с подозрением. Только что минуло тревожное время борьбы Керенского с атаманом Калединым. Боязнь быть заподозренными в контр-революции заставляла сторониться от генерала Алексеева. Приходилось вести дело скрытно. Под видом выздоравливающих раненых были размещены первые добровольцы в лазарете на Барочной улице.

Не было оружия, не было теплой одежды, не было денег. Донское правительство отказывало. Из Москвы не присылали.

Нестерпимую муку переживал генерал Алексеев в вечной заботе, откуда добыть денег для оплаты счетов по произведенным расходам.

Добровольцы кормились и одевались на случайные пожертвования добрых людей, и во время боев под Ростовом им отвозили на позиции сапоги и теплую одежду, собранные у жителей Новочеркасска, кто это даст.

Орудия добывали сами. Первые два орудия были выкрадены в Лежанке у красных, и во всей упряжке доставлены в Новочеркасск. Вторые тайком куплены у казачьей батареи. За орудиями были посланы юнкера в Екатеринодар, но были схвачены и отправлены в новороссийскую тюрьму. Вот как начиналась добровольческая армия.

И в эти дни, когда приходилось видеть генерала Алексеева, нагнувшегося над столом, в очках, старательно записывающего своим четким почерком в маленькую тетрадь каждую истраченную копейку, я проникался чувством преклонения перед ним, старым герцогским главнокомандующим русской армией в этой убогой обстановке.

Для многих казалось непонятным и странным, как мог генерал Алексеев отдавать все свои силы заботам о каких-нибудь двух-трех стах добровольцах. Он, руководивший всеми русскими армиями, распоряжавшийся миллиардным бюджетом, теперь был поглощен хлопотами о добычании нескольких железных кроватей, о починке дюжины старых сапог, о вооружении своих людей несколькимистами ружей, двумя-тремя пулеметами.

Изыскивая средства, он писал письма к богатым ростовским благотворителям, прося их пожертвовать на нужды своих добровольцев.

Он весь ушел в то, что он называл своим последним делом на земле, а это было не только последнее, но и самое большое дело его жизни, ибо, и многолетние труды его для русской армии, и все то, что совершил Алексеев в руководстве русскими войсками в мировой войне, все это меньше того, что сделал больной старик, уже близкий к смерти, в своих заботах о четырехстах добровольцах.

.....

В Новочеркасске Алексеев рассчитывал найти точку опоры для борьбы с большевизмом. На Дону атаманом был Каледин. Только на Дону офицеры процветали: носить золотые погоны, только здесь отдавалась воинская честь и возмещалось звание офицера. Маленький незатопленный островок среди разбушевавшейся стихии.

Надежды генерала Алексеева не оправдались. Власть на Дону была организована революционным порядком. Высший орган в крае, войсковой круг, состоял из выборных от казачьих станиц и от войсковых частей.

Атаман и его помощник избирались кругом. Но атаман не имел единоличной власти, а был лишь председателем правительственной коллегии из 14-ти старшин, избранных каждым кругом в отдельности.

В то время как требовалось сосредоточение всех сил, не было правительственного центра; отсюда разброд и вырывание власти из слабых рук.

Правительство вместо того, чтобы представлять из себя силу, само искало опоры и шло на соглашения то с иногородними, то с крестьянами, то с революционной демократией, то, наконец, и с большевиками.

На кругу, как и на всяком собрании, вдруг оказавшемся наверху власти без сдержек, без понимания своей ответственности и пределов своих полномочий, стала господствовать все та же низкая демагогия. И так же, как в Петрограде, натравливали толпу на министров капиталистов, так и на Дону поднялась травля на атамана Каледина и его помощника Богаевского. Их точно так же обвиняли, что "они доработали руку помещиков и заключили соглашение с кадетской партией против народа".

Каледин и Богаевский должны были выступать перед кругом с оправданиями против обвинений в контр-революционности, и, хотя обвинение было с них снято, но соглашение с партией к.-д. для выборов в учредительное собрание было расторгнуто.

Теперь, когда видишь всю нелепость и дикость господствовавших в то время настроений, диву даешься не тому, что победили большевики, но тому, что борьба против них могла подняться среди такого сплошного угара.

Когда на Дон приехал генерал Деникин, его попросили выехать из Новочеркасска, и Деникин, так же, как и генералы Марков и Лукомский, принуждены были скрываться, кто в Екатеринодаре, кто во Владикавказе.

Немного было сил у атамана Каледина — несколько казачьих полков последних очередей, разбросанных для охраны по всей области, тысяч шесть-восемь конных и пеших, а в ростовских казармах, в бараках на Хотинке возле Новочеркасска и в Таганроге, было сосредоточено тысяч до сорока-пятидесяти солдат запасных батальонов, буйных, вышедших из повиновения, готовых на восстание.

Был дан приказ об их разоружении и роспуске. Наступили тревожные дни. Атаман Каледин не мог положиться на свои казачьи полки: были случаи отказа от исполнения боевого приказа. Атаман обратился за помощью к генералу Алексееву. Ни одной минуты не поколебался генерал Алексеев, и на другой же день жители Новочеркасска увидели отряд юнкеров и офицеров, в стройных рядах проходящий по городской площади.

В бараках на Хотинке солдаты были разоружены и отправлены по домам, но в Ростове вспыхнуло восстание; к избунтовавшимся запасным примкнули рабочие железнодорожных мастерских, и город был захвачен. На баржах из Севастополя подошло несколько тысяч черноморских матросов. Начались бои под Ростовом.

Я помню завывание вьюги ночью на станции Кизетеринке. Штаб стоял в досчатых станционных постройках. Тусклый свет фонарей в ночном мраке. На запасных путях теплушки; туда переносили раненых и клали их на солому в холсте... Ночью копали мерзлую землю... Полушубки, чулки, валенки носили людям в окопы. В ноябрьскую стужу они пошли, кто в чем был.

Три дня тонкая цепь наших рядов, раскинутая вдоль оврага, отбивала наступление большевиков. Я помню радость, когда в тылу у красных раздались пушечные выстрелы: генерал Назаров подошел из Таганрога. Наши переходят лошину. Красные выбиты из кирпичных заводов. Взята товарная станция. Солдаты бросают оружие. Толпами бегут и сдаются. Ростов взят.

Огромная толпа с ликованием встречала атамана Каледина на Садовой улице.

При вступлении большевиков в Ростов на той же Садовой улице их встречала толпа с таким же ликованием; с радостными криками народные толпы приветствовали Кромвеля после его победы. Друзья указывали ему, как он любим народом. "Их собралось бы еще больше", ответил Кромвель, "когда бы меня вели на казнь".

.....

После взятия Ростова, я поехал в станицу Кавказскую, Кубанской области, а оттуда в Кисловодск.

В поселке возле станции, на хуторе Романовском, под самыми окнами гостиницы был убит человек на глазах у всех, и труп его валялся на улице. Никто его не убирал. Я видел этот заляпавшийся труп человека, как труп какой-нибудь собаки. Одни говорили, что убитый — порец, захваченный с пуленетными лентами, другие, что убили буржуа из Ростова, но никто доподлинно не знал, кого и за что убили, и никто не остановил и не задержал убийц. Никому не было дела до другого. Каждый только и думал, как бы самому уберечься, и старался держаться в стороне. Страх за самого себя был господствующим настроением.

В станице Кавказской я застал всех в напряженной тревоге. На той стороне реки стояли части 39-й пехотной дивизии, самовольно бросившей фронт по вызову кого-то для захвата Екатеринодара. Солдаты заняли сахарный завод и поселок Гулькевичи и угрожали разнести станицу из орудий. Все жили под страхом нападения. На валу в крепости стояли казачьи дозоры.

В Кавказской я остановился в заезжем доме у вдовы — генеральши Архиповны. Это была дюжая баба-казачка. Она умела угостить своих постояльцев, но при случае, не прочь была и расправиться с ними. На кухне всегда был слышен ее зычный голос и покрикивания на дочь и на слугу.

В том же заезжем доме стояли офицеры-артиллеристы, присланные с батареей из Екатеринодара для защиты станицы.

Как то ночью их предупредили, что казаки постановили покончить с ними и должны сейчас прийти их арестовать. За что? Офицеры не могли понять. Нужно было видеть их отчаяние. Они жили дружно со своим батарею, доверяли своим людям — и вдруг предательство.

Всю ночь мы провели в тревоге, не раздеваясь, вооруженные, ожидая нападения. Утром командир батареи пошел переговорить со своими казаками, и ему удалось дело уладить.

Оказалось, среди артиллеристов был пущен слух, что вышел приказ всем казакам расходиться по домам. Офицеры, будто, приказ этот скрыли и насильно заставляют людей оставаться на службе.

И достаточно было такого слуха, чтобы самые надежные люди пришли в дикое озлобление и постановили убить своих офицеров, и не только постановили, но и могли бы в действительности убить, если бы ни какая-то случайность, помешавшая им в ту же ночь приступить к исполнению принятое решение.

"Вы не должны забывать, что вы имеете дело с помешанными" — говорил командир своим офицерам — "и действовать так, как если бы вы были в сумасшедшем доме".

Так оно и было — какое-то поголовное помешательство, вдруг охватившее людей.

В станице оставалось еще все старое станичное правление и свой станичный атаман, но на сходе выступали молодые казаки, перекрикивали стариков и выносили свои постановления. Старый полковник атаман жил под постоянной угрозой расправы со стороны буйной толпы.

Между православными и старообрядцами, жившими в той же станице, разгорелась вражда. Старообрядческий начетчик подбивал казаков, своих единоверцев, против православного священника. С другой стороны, какой-то псаломщик выступал с яростными речами против капиталистов, требуя, чтобы священника выгнали из его дома.

В Кавказской поселилось несколько московских семей, рассчитывавших найти себе безопасный приют в богатой кубанской станице. Среди них была семья Гагариных и Трубецких. Между казаками о приезжих стали ходить разные слухи. Одни говорили, что они царского рода; старики конвойцы отдавали честь детям Трубецких и собирались охранять их. Другие кричали, что они буржуи. Слово это повсеместно было распространено в самих глухих захолустьях; смысла его никто не понимал, и тем яростнее была ненависть.

Против Трубецких поднялась травля. Пошли слухи, что они прячут золото и камни, говорили, что их, буржуев проклятых, нужно убить. И кто же кричал больше всех о буржуях? Тот хозяин, у которого двор был полон скота и всякого добра и стояли скирды немолоченного хлеба от прошлого урожая!

Разнесся слух — на хуторе Романовском громят винный склад. Вся станица — кто на подводе, кто верхом, кто пеший — бросились на хутор, и обратно потянулась целая вереница повозок, нагруженных посудой и вином. Привезли, кто сколько успел забрать.

Наша вдова-генеральша — на двух подводах. И началось: крики, гам, гульба по всей станице и днем, и ночью. Из хозяйской комнаты доносились песни, слышны были топанье ног и дикое гоготанье, и среди всего этого шума звучал зычный голос пьяной Архиповны.

Все было забыто — и революция, и буржуи, и раздоры. Все предались одной безшабашной гульбе.

Когда я, возвращаясь, проезжал хутор Романовский, я видел обгорелое здание винного склада. Говорили, что в пожаре погибло несколько человек.

На улице стояли лужи от пролитого вина и люди черпали грязную жижу; кто тут же пил, кто вливал в посуду и уносил домой — взрослые, дети, женщины.

На станции все было пьяно. Валялись на полу вповалку — другие лезли в драку, горланили, обнимались и пили. В этом сраме, в диком и пьяном разгуле погибала Россия.

"Социализм, ах, как это хорошо" — сказала мне одна учительница в каком-то упоении от революции.

Наивной глупостью отличалась не одна провинциальная учительница, но и те, кто в это страшное, ответственное время встал во главе власти.

"Я счастлив, что живу в такое время, когда осуществились все наши надежды" — говорил князь Львов в речи, обращенной к собранию членов 3-х Государственных Дум, созванному в Петрограде при Временном Правительстве.

.....

В Кисловодске вы попадали сразу в другой мир. На великолепной террасе курзала масса знакомых из Петербурга и Москвы. Здесь можно было встретить и сановников, и дипломатов, и военных, и светских дам, и знаменитостей императорской сцены, и звезд балета.

Светлый высокий зал в блеске электричества, роскошно убранные обеденные столы, наряды, бокалы шампанского, сладости, непринужденный разговор и смех под звуки струнного оркестра — глазам не верилось после зимы под Кизилтеринкой.

В Кисловодске текла непрерывным потоком, теперь уже маленьким ручейком, но все та же светская жизнь. Ничто не могло ее остановить — ни мировая война, ни ужасы революции, никакие потрясения и катастрофы. Все те же визиты, чашки чая, приемы у Великой Княгини, бридж, разговор с Его Высочеством, кавалькады, вино, карты, ухаживания и дуэли, тут были даже дуэли — был убит полковник Ц/. Весь этот карнавал катился над самой пропастью kloкочущего вулкана.

И среди этого беспечного праздника какие-то спекулянты обделывали свои дела, заключали договоры на лесные разработки и нефтяные земли с горским правительством. Каждый спешил что-то сорвать для себя из тонущего корабля.

В зале ресторана я видел Караулова, нашего члена Государственной Думы, теперь терского атамана после революции. Как всегда приподнято-веселый за стаканом вина, речистый и беззаботный, он все еще находился в праздничном угаре своего атаманства. Через несколько дней я выехал из Кисловодска. На станции "Минеральные Воды" я узнал, что Караулов убит в своем вагоне толпой солдат при остановке поезда в Прохладной.

В вагоне давка. Люди жмутся среди узлов, корзин, стоят в проходах, на площадках, цепляются на подножках, влезают на крыши.

Какая-то семья, спасающаяся из Грозного от нападений горцев. Растрепанная женщина, бледная, измученная, с детьми среди домашней поклажи. Железнодорожный служащий с таким же измученным лицом. Солдаты в шинелях, без погон, с набитыми мешками, рослые казаки, группа людей восточного типа в черных бешметах и опять серые, грязные шинели.

Давка, толкотня, окна разбиты и оттуда несет холодом. Разговор о грабежах, о нападении горцев, о взятии Ростова. Кто радуется, кто угрюмо молчит. Завязывается спор, кто-то ругается.

- "Я должен воевать, а он себе каменную лавку нажил, товару на сто тысяч. Мне с голоду помирать с войны то этой" - злится солдат.

Бородатый, толстый в поддевке отмалчивается.

- "Для буржуев кровь то мы, видно, проливали" - злобно говорит кто-то.

- "Ножом ему, да в пузо" - заканчивает другой грубый голос.

У солдат лица становятся злые, и злоба их направлена на толстого в поддевке, как будто это был тот самый, кто нажил каменную лавку и сто тысяч.

- "А все, братцы, по хорошему будет, все поделить всем поровну, чтоб не было ни бедных, ни богатых" - каким-то умильным голосом говорит белобрысый, молодой солдат.

- "Эх, хотя бы один конец" - вздыхает железнодорожник с измученным лицом.

В другом конце вагона подымается ругань, готовая перейти в кулачную расправу.

На остановке у станции в вагон, битком набитый, ломятся еще люди с узлами - их не пускают, выталкивают.

Только что поезд трогается, раздаются крики: "Ох, батюшки, корзину то украли" - визжит женский голос.

Всю ночь, прижатый в проходе, стоишь, не засыпая, возвращаясь к себе усталый, разбитый.

II.

Недолго пришлось отдыхать после взятия Ростова. Вновь начались бои. Красные наступали с северо-запада, востока и юга. Среди них стали появляться организованные части: латышские полки, мадьярская кавалерия и отдельные отряды войск кавказской армии, вооруженной массы, хлынувшей с фронта и застрявшей на станциях владикавказской железной дороги и в Старопольской губернии.

В их действиях сказывалась уже известная планомерность. Руководящая рука направляла их к определенной задаче окружения Дона. С северо-запада наступала армия Сиверса, того самого, который издавал "Окопную Правду" и вел пропаганду братанья с немцами.

На востоке был захвачен Царицын и узловые станции по Тихорецкой ветви. С юга наступали части 39 пехотной дивизии и ставропольский революционный гарнизон.

Среди шахтеров вспыхнули волнения. В Донецком бассейне объявлена социалистическая республика.

Между иногородними и казаками разгорелась вражда. Станицы и хутора охранялись заставами от нападений. Все жила в напряженном состоянии среди насилий, грабежей и поджогов.

Само казачество стало захватываться революционными настроениями. Молодежь, возвращавшаяся с фронта с награбленным добром, с присвоенным казенным имуществом и деньгами, вносила моральное разложение в патриархальный уклад станиц.

Фронтвики, как их звали на Дону, являлись к себе домой с наветами буйства и неповиновения.

Фронтвики наносили побои, выгоняли из дома стариков. Были случаи отцеубийства. Слышал я и рассказ, как отец зарубил шашкой родного сына-фронтвика.

Между станичниками и фронтвиками шла напряженная борьба — и там, где брали верх фронтвики, в станицах устанавливались революционные комитеты.

Революция — это ненависти, ненависти злонамеренно разожженные между людьми. Агитаторы появились на Дону. Везде расклеены прокламации на стенах домов, на заборах. На каждой станции, на базарах, на каждой перекрестке улиц-сборища, возбужденная озлобленная толпа.

Донское правительство шло навстречу революционным настроениям, изыскивало все способы соглашения. Но все было напрасно. Напрасно было привлечение иногородних на паритетных началах в войсковое правительство, напрасны обещания крестьянам наделения землей, напрасны все уговоры, раздача подарков и денег казачьим полкам. Казаки брали подарки, а идти сражаться с большевиками отказывались и расходились по домам.

Разложение в казачьих частях принимало все большие и большие размеры. Врагственный падеж дошел до того, что были случаи продажи своих офицеров за деньги большевикам.

И не большевицкие массы, наступавшие на Дон, не открытый бой с ними был для нас страшен. Вся опасность заключалась в заразе; вот в этих всюду проникавших микробах разложения во все темные уголки, во все щели.

.....

Первым выборным атаманом на Дону был Каледин, доблестный русский генерал, имя которого было связано со славой наших побед в великую войну.

Честный, твердый в исполнении своего долга, он, водивший без колебаний людей в бой под ураганным огнем, здесь на Дону оказался в беспомощном положении жертвы, опутанной липкой паутиной.

Воля его была парализована. Приказ не действителен. Повиновения никакого. Он сознавал свою ответственность, видел ясно надвигающуюся опасность, но видел также все бессилие своей власти и полную невозможность предотвратить неминуемую гибель Дона.

"Большевизм для нас отвратителен, а для них это — сладкий яд" — говорил Каледин.

Мне запомнились слова Каледина, сказанные вскоре после смерти Духонина: — Убийство генерала Духонина нас возмущает до глубины души, а им кружит голову. — "Вот как наш брат с господами справляется".

Эти слова отражали всю его душевную драму. Та же тупая, низкая злоба подымалась против него. Он выходил говорить с казаками, а они ему, донскому атаману, отвечали грубостью и неповиновением. "Знаем, чего еще, надоел". До боли чувствовал он эту подымающуюся против него злобу. Они готовы были убить его, как убили Духонина.

Сумрачный /он ни разу не улыбнулся/, замкнутый в своей тяжелой думе, он нес бремя своей атаманской власти, как крест, подавленный непосильной ношей. Вот в чем заключалась трагедия Каледина.

.....

Сладкий яд отравлял не одни низы, но и общественные верхи. Каледин, с его трезвым пониманием, с сознанием долга, был один. Богачевский, его помощник, искренний и пылкий, прозванный донским баяном, был проникнут лиризмом народничества и не понимал и не мог понять, что революция не могла быть иной, чем той, какой она выявилась в большевизме. Вместо мечты своей молодости, он столкнулся с грубой реальностью пугачевщины и все-таки продолжал верить, что можно заговорить зверя словами, верил в осуществимость своей мечты, какой-то другой идеальной революции.

Много было людей, опьяненных своим успехом в революционных событиях.

Какой-нибудь школьный учитель, дрожавший перед инспектором, вдруг попадал в народные трибуны, полковой писарь или военный фельдшер, стоявший на вытяжку перед поручиком, мог смещать полкового командира, провинциальный адвокат делался градоначальником, а железнодорожный рабочий-слесарь превращался в начальника милиции.

Голова кружилась от таких внезапных превращений. Вздутое самлюбие заставляло их держаться за завоевания революции, боянь утратить то, о чем им и во сне не грезилось, заставляла ненавидеть старый режим.

Появились и такие дрянные людишки, как Агеев. Бледнолицый, чахлый, он весь был пропитан завистью и злостью и те же низкие инстинкты, он будоражил в толпе. Он был заразителен. Это давало ему власть над толпой.

Что могло остановить таких людей? Сознание ответственности, честь, совесть. Что значили все эти ожившие понятия, когда он, Агеев, может играть такую роль.

В прошлом — трепет перед окриком урядника, а теперь он угрожает самому атаману и перед ним все заискивают и его боятся.

Казачья интеллигенция, пропитанная теми же идеями революционной демократии и социализма, выдвинула из своей среды таких же народникоп-мечтателей, грубых демагогов и дрянных людишек, искавших поживиться, как и повсюду в России. Играли на тех же низких инстинктах, бросали те же лозунги.

И сколько лживого было в этих лозунгах: "Земля ничья", "Земля Божья". На Дону, на Кубани, на Тереке — земля была отбита казачьей саблей у кочующих калмыков, ногайцев, черкесов или была пожалована за верную службу, и для несения службы, а вовсе не была даром Божиим, как воздух и вода.

"Земля и воля" — эти лозунги натравливали одних на других, приводили к свалке, где хватали землю у тех, кто не мог ее защищать силой, а воля превратилась в дикий разгул первобытной волюнтаризма.

На стороне большевиков появились грубые, наглые типы. Войсковой старшина Голубов, когда-то отличавшийся своим черносотенством, неудачник по службе, превратился в вождя революционного казачества. Такие превращения были нередки. Психология черносотенства весьма недалеко от большевизма. Зычный голос, змороченная ручища, склонность к кулачной расправе заставляли толпу ему повиноваться. В революционном угаре он нашел выход своему дикому нраву.

Другой — Подтелков, донской урядник, грубый, дерзкий на язык и буйный во хмелю. Для него революция была та же пьяная гульба. На службе угрожала тюрьма за растрату казенного имущества, в революции "море по колено".

Подтелков встал во главе революционного комитета в станице Каменской, и началась дикая оргия — становилась Пугачева с его пьяными безобразиями, распутством и зверствами.

От большевиков Подтелков получил два миллиона рублей. Это было установлено по перехваченным письмам. Вот какими деньгами соприкоснулась революция.

Казачество, как войско, было крепко своею службою Государю и русскому государству. Казак знал, что он должен служить. Его отец, деды и прадеды служили. Турецкие войны, двенадцатый год, оборона Севастополя, покорение Кавказа — все было связано с историей казачества.

Походы, подвиги, победы — слава русского оружия была славою казачества. Сложилась казачья честь, понимание долга службы. Все держалось на духе повиновения.

Революция сразу одним ударом разрушила самую основу всего строя казачьей жизни. Пала царская власть. И люди не знали, кому они обязаны повиновением — своему выборному атаману, но он мог быть смещен, его власть оспаривалась; войсковому кругу, но там шумела разногласица; донскому правительству, но оно, составленное наполовину из иногородних, не внушало к себе никакого доверия.

Авторитета, которому все подчинились бы, не стало. Приказ, имевший такое решающее значение, вдруг потерял свою силу. И прежде крепкое, связанное войско рухнуло. Идея целого была потеряна и каждый стал промышлять сам для себя.

Поднялась с низов глубокая старина, когда казачья голытьба с ворами и разбойниками шла грабить русскую землю — смутное время, бунт Стеньки Разина, пугачевщина.

.....

Устоять среди такого развала могли люди с исключительной силой воли. Среди них прежде всего генерал Назаров. Этот человек не знал страха. В противоположность многим другим военным он умел быть мужественным не только на поле битвы, но и среди мятежной толпы.

Нигде он не терял самообладания. Его не могли смутить ни угрозы, ни злобные крики. Благодаря его решимости был взят Ростов; когда из Таганрога с одной батареей он двинулся против пятнадцати тысяч мятежников, и ту же решимость проявил Назаров, когда выступил перед революционно настроенной ростовской думой и не колебался взять на себя всю ответственность за стрельбу в рабочих на собрании в железнодорожных мастерских.

Мужественный вид, его спокойное, твердое слово приводило в смущение самих озлобленных противников и заставляло уважать его. Его ненавидели, но при нем смолкали.

Умер он так же, как и жил. Выбранный атаманом после смерти Каледина, он остался в Новочеркасске, откуда ушли последние верные казаки с генералом Поповым. Мужественно во главе войскового круга встретил ворвавшихся в залу большевиков, зная, на что он идет, бесстрашно отвечал на дерзкие выходки Голубова, был схвачен и уведен на расстрел.

Другой был есаул Чернецов. Вся энергия умирающего Дона воплотилась в его лице. С отрядом в 100—200 партизан, набранных тут же в Новочеркасске, гимназистов, кадет, юнкеров бросился Чернецов в свой смелый набег.

Много раз приходилось мне видеть на маленькой станции Новочеркасска, как эти партизаны-подростки, тут же на платформе разобрав винтовки и патроны, садились в теплушки. При криках ура поезд отходил и скрывался вдали.

От них слышал я рассказ, как они привалились на занятиях большевиками железнодорожные станции и прямо из вагонов бросались в штики на захваченных врасплох красных, как Чернецов один с нагайкой в руке появлялся среди скопищ шахтеров и наводил страх на бушующую толпу. Отваге его не было пределов.

Среди общего морального падения был и высокий подвиг героизма на Дону. Не мало жертв было принесено для спасения Дона. Из 60 учеников реального училища, ушедших в отряд Чернецова, осталось в живых не более 20. Чернецов погиб измученно преданный Голубовым.

- . - . - . - .

III.

Проходя как-то по городу, я встретил коляску. На козлах рядом с кучером сидел кто-то в необычной лохматой бараньей шапке. Несколько всадников в таких же текинских лохматых шапках ехали сзади. Мне показалось, что я узнал в сидящем в открытой коляске генерала Корнилова.

О его прибытии говорили тайком. Его приезд скрывался. И хотя теперь, после взятия Ростова, генералу Корнилову разрешили остаться в Новочеркасске, тем не менее и он, и возвратившиеся на Дон генералы Деникин, Марков, Лукомский принуждены были проживать под чужими именами, прячась и скрываясь.

Но среди нас, которые знали, приезд генерала Корнилова вызвал самые бодрые настроения. Его ждали с нетерпением, и его приезд к нам из Быхова всеми был встречен, как прибытие того, кто должен вести нас в трудный и опасный путь вооруженной борьбы против большевиков.

Я слышал о генерале Корнилове, когда во время войны был в Галиции. Тогда уже говорили о нем с тем чувством восхищения, которое может внушить к себе только сильный человек. Говорили о его неустрашимости, говорили о звезде Корнилова.

"Корнилов заколдованный, его пуля не берет" — рассказывали мне один раненый офицер. "Разорвалась над его головой шрапнель, ранило и убило тех, кто был впереди и сзади него, а у Корнилова ни одной царапины. Он оказался как раз под воротами каменной стены, на шаг вперед, и он был бы убит".

Я был в Галиции и при наступлении Макензона. За сорок верст от места боя я слышал непрерывный протяжный гул орудий.

Лично я увидел Корнилова в первый раз, когда из австрийского плена он вернулся в Петербург; я встретился с ним у А.И. Гучкова. Небольшого роста, подвижной, с чертами лица киргизского типа, он как-будто чувствовал себя не на своем месте в мягком кресле в петербургской гостиной.

Мне вспомнился этот гул орудий в Карпатах. Там, в этом огне, был Корнилов. Один за другим он вывел три полка своей дивизии из спешного окружения, и сам остался раненый с такими же перераненными несколькимистами своих людей.

Корнилов подошел к столу, взял клочок бумаги и быстро черча карандашом, набросал весь план боя. Этот клочок я хранил у себя. Теперь ни потерян, как все, что было у меня.

О его побеге из плена и переходе через румынскую границу, в восточных Трансильвании, много говорили в Петербурге. Потом я видел Корнилова при его приезде в Москву, как верховного главнокомандующего, на государственное совещание.

Большой Московский Театр, там, где ставилась опера "Мизанза Мизан", представлял из себя совсем другое зрелище.

Партер переполнен. Ложи битком набиты. С левой стороны до самого райка все делегаты, призванные войсковыми частями, в солдатской форме, еще с не сорванными погонами, но с таким разнузданным, наглым видом, с всклокоченными волосами и с таким ревом, когда им не нравилась речь, и с громом рукоплесканий, когда выходил левый оратор, что становилось жутко, как среди пьяной толпы.

На сцене, ярко освещенной электричеством, театральная бутафория. Широкий, покрытый красным сукном стол. Огромные канделябры. Кресла с высокими спинками из какой-то сцены средневекового замка. И Керенский во френче. Два офицера сзади за его спиной. В креслах министры: селянский Чернов, Прокопович, Терещенко и другие: все знакомые лица.

На трибуну выступают ораторы. Брешко-Брешковская, бабушка русской революции. Лицо не то бабье, обрюзгшее, не то бритое мужское. Голос грубый. Читает наставление буржуазии, обращаясь к правым рядам, как должна буржуазия воспринять революцию. Прочла наставление и сошла, переваливаясь грузным телом.

Говорит Милюков, скрипит своими гортанными выговорами Чхеидзе, Бубликов протягивает ему демонстративно руку в знак примирения: буржуазии с революцией и с пролетариатом.

Удачные и неудачные речи. Отличаются одним: не имеют никакого отношения к тому, что совершается в России. К чему весь этот фарс?

Выступает Керенский. Театральная поза. Скредивание рук на груди, то упавший, то вновь повышенный голос. Трагические ноты. В нужный момент угрожающий жест. Заученная роль. Говорит, как актер на сцене. Вдруг сорвался... надрыв... бессвязные выкрики и конец: "Пусть увянут цветы. Под колесницу Великой России я брошу свое истерзанное сердце".

Сверху из ложи: "Керенский, не делайте этого" — пронзительный крик какой-то девицы. О, как я помню и Керенского во френче, и надутый пафос, и цветы его красноречия, и этот исторический визг на весь театр.

А в театральном зале, где шло представление, невидимо витали тени заученных в Кронштадте морских офицеров, тени всех тех, кто был убит, утешен, погиб так же, как и они, от руки натравленного на них и озверелого солдата.

Большевики уже торжествовали в театре, когда Керенский упивался своими речами. Россия погибала, выданная головой шайке негодяев, каких мир еще не видывал. Наступили тяжелые дни.

Утром по городу расклеено воззвание правительства: "Всем ... всем ... всем". Генерал Корнилов схвачен. Корнилов заключен в Быховскую тюрьму. А через месяц — бой на улицах Москвы.

Мой старший сын в рядах юнкеров Александровского училища. Корнилов был тот, кто первый поднял руку на всю эту ложь революции. Вся окружающая обстановка, малочисленность добровольцев, полное отсутствие средств на их содержание не являли доверия генералу Корнилову.

Ходили слухи, что он не хочет связывать себя с Алексеевской организацией, думает бросить Дон и пробраться в Сибирь.

К тону же между Корниловым и Алексеевым были предубеждения. Личные отношения их были натянутыми. Этих пользовались как с той, так и с другой стороны, услужливые приближенные обоих генералов, стараясь раздуть их взаимную неприязнь.

Не раз грозил полный разрыв. Но оба они — и Алексеев, и Корнилов — были равно необходимы для армии. Только Корнилов мог вести в бой эту отважную молодёжь, но и уход Алексеева был бы роковым для Белого движения.

Эта необходимость наперекор личным отношениям, раздражению и интригам, заставила их обоих остаться и разделить между собой управление и руководство армией.

В декабре месяце между атаманом Калединым и генералом Алексеевым состоялось соглашение. Добровольческая армия взяла на себя задачу защиты подступов к Ростову, оставив казакам охрану Донской области и Новочеркаска с Севера и с Востока.

Штаб добровольцев перешел в Ростов и занял дом Паранова на Пушкинском бульваре.

Ростовская городская дума, избранная по всеобщему избирательному праву, вся сплошь из социалистов всех оттенков, народников, революционеров, меньшевиков, большевиков, рабочих, студентов и евреев.

Газеты все лезе, выслеживали контр-революцию и обличали нашу молодёжь в монархических замыслах. На улице рабочие демонстрации, похороны жертв революции с красными флагами, с призывами к отомщению.

"Пусть армия существует, но, если она пойдет против революции, она должна быть реформирована".

Вот господствующие настроения. Враждебное отношение к армии проявлялось на собраниях, на митингах, на с"ездах.

"Добровольческая армия должна быть под контролем объединенного правительства, а в случае установления в ней элементов контр-революционных, таких элементы должны быть удалены немедленно из пределов области". Таково постановление крестьянского с"езда некоторых уездов.

Донское правительство решило пригласить генерала Алексеева, чтобы он лично мог дать исчерпывающий ответ для успокоения общественного мнения.

На этом совещании, происходившем в Новочеркасске, присутствовали члены донского правительства, в том числе и от крестьянства. Здесь находился также и эмиссар ростовской думы, один из наиболее подозрительно относившихся к добровольцам.

Председатель заявил генералу Алексееву, что "крестьянский с"езд просит всесторонне ознакомиться с организацией, деятельностью и задачами добровольческой армии".

Генерал Алексеев объяснил, что союзом, организовавшимся в Москве в октябре 1917 года, ему поручено дело спасения России, с какой целью он и приехал на Дон.

Сюда стали стекаться беженцы, офицеры и юнкера, из которых и начала свои формирования армия. Члены армии при вступлении дают подписку не принимать участия в политике и в политической пропаганде. Средства частью добываются путем пожертвований, частью от союзников. После последнего заявления ведущий допрос председатель спросил:

"Скажите, пожалуйста, генерал, даете ли вы какие-либо обязательства, получая эти средства?"

"При обыкновенных условиях — ответил Алексеев — я счел бы подобный вопрос за оскорбление, но сейчас, так и быть, я на этот вопрос отвечу. Добровольческая армия не принимает на себя никаких обязательств, кроме поставленной цели — спасения России. Добровольческую армию купить нельзя".

"Существует ли какой-нибудь контроль над армией?" — продолжают вопросы.

"Честь, совесть, сознание принятого на себя долга и великие идеи, преследуемой добровольческой армией и ее вождями, служат наилучшими показателями контроля с чьей бы то ни было стороны. Никакого контроля армия не боится" — ответил Алексеев.

В заключение, генерал Алексеев высказал готовность принять в армию формирования демократических элементов, организуемых ростовской думой, "если они откажутся от всего, что сделало из русской армии человеческую нечисть".

Все характерно в этом собрании. И крестьянский съезд, поручающий всесторонне ознакомиться с организацией и задачами добровольческой армии, и донское правительство, вызывающее генер. Алексеева для дачи объяснений, и председатель, ведущий допрос в присутствии эмиссара из Ростова, и, наконец, простые, честные ответы самого генерала Алексеева.

"Добровольческую армию купить нельзя". — "Честь, совесть, сознание принятого на себя долга, великие идеи... Вот основы, на которых строилась армия".

Генерал Алексеев готов был принять и демократические элементы, "если они откажутся от всего, что сделало из русской армии человеческую нечисть".

Но революционная демократия не могла отказаться от разращения армии, от "превращения ее в человеческую нечисть", как сказал Алексеев, потому что "человеческая нечисть" служила ее задачам — делу революции.

Вожди добровольческой армии призывали к исполнению долга. Революция будила низкие инстинкты, натравливала, захватывала массы корыстью и злобой. Для масс честь, совесть, великие идеи были недоступны. Вот почему вожди добровольческой армии остались одни.

С ними приклянули отдельные люди, но ни общественные круги, ни политические партии, ни торгово-промышленный класс, ни казачество их не поддерживали.

Струве, Щедоров, кн. Трубецкой, Половцев, Гучков, Милюков — вот, кажется, и все из общественных деятелей, кто так или иначе работали в то время для армии.

Появлялись на Дону и искатели приключений. Появился и Савинков. Упоенный своею ролью в революции, как прежде ощущениями террора, этот проходец, красовавшийся своим прошлым, ничего общего не имел ни с идеей, ни с духом добровольческой армии.

И хотя генералу Алексееву пришлось допустить его в состав совета, но сделано это было лишь с тем, чтобы его обезвредить, как тогда говорили, т.е. не допустить вредить своими интригами неокрепшей еще организации.

Савинков скоро отбыл в Москву, где использовал имя генерала Алексеева для выманивания денег у союзников и залечения офицеров в свою организацию, кончившуюся, как известно, провалом и гибелью многих тысяч доверившихся ему людей.

Разные темные личности вертелись вокруг генерала Алексеева и генерала Корнилова — Завойко, Добрынский, матрос Баткин. Появился и Коренский. Беззастенчивости не было пределов.

Помню некоего полковника Солодовникова, с всклокоченными волосами, с видом одержимого, но при всем своем помешательстве сосредоточенного на одном — как бы что сорвать для себя.

Шкурный инстинкт говорил всего сильнее в людях. У одних, более энергичных, он проявлялся в захватах, у других в боязливом уклонении, в спасении самих себя и своих пожитков.

И среди всеобщего развращения и малодушия одни добровольцы выполняли свой долг. Среди них не было ни полковников, ни ротмистров, ни капитанов — все стали рядовыми.

И так же, как верховный главнокомандующий, в целочных заботах о своих добровольцах, так и каждый из них, в несении службы рядового, выполнял свой жизненный подвиг.

IV.

Ростов продолжал жить шумной жизнью богатого, торгового центра. Конторы, банки, склады, магазины — не жизнь и спекуляция /спекуляцией занимались все/. В клубах, в игорных домах азартная игра на многие сотни тысяч. Сорились бешеные деньги. В роскошных залах гостиниц — ресторанных кутящие компании, разряженные женщины. Увеселения, как всегда. Кинематографы, театры, концерты, ночные притоны.

А борьба с большевиками? Это дело военных, генералов, кого-то другого, а для них это постороннее дело. Взять выгодный подряд на армию, засучить залежавшийся товар, обменять с барышом — вот чем была поглощена ростовская буржуазия. Нелепо, когда говорили, что Ростов был оплотом буржуазии в ее борьбе с пролетариатом.

На одном примере можно видеть отношение денежной буржуазии к армии. Я говорил о том, как нуждался в средствах генерал Алексеев, как он принужден был писать письма к ростовским благотворителям.

В этих трудных обстоятельствах кружок частных лиц решился обратиться к ростовским банкам. Я помню, как мы собрались в большом кабинете с кожаными креслами в многоэтажном здании на Садовой улице.

М.М.Федоров призывал к патристическим пожертвованиям. И директора банков согласились выдать под векселя 350 тысяч. Вот сумма пожертвований на армию всех коммерческих банков в Ростове.

350 тысяч, а когда пришли большевики, те же управляющие банками выдали им 18 миллионов.

Мало того, по возвращении нашем из похода, когда наступил срок, банки не постеснялись принять меры для взыскания по просроченным векселям. Среди подписавших векселя был убитый большевиками гр. Орлов-Денисов. Нет, буржуазия не была с армией.

В одной картине запечатлелась героическая борьба на Дону. Широкая улица большого города. Многоэтажные дома с обеих сторон. Зеркальные окна магазинов. Парадные подъезды больших гостиниц. В залах ресторанов гремит музыка. На тротуарах суетливое движение тысячной толпы, много здорового молодого люда. Выхрики уличных газет. Треск трамваев.

Проходит взвод солдат. Они в походной форме, холщевые сумки за спиной, ружья на плечах. По выправке, по золотым погонам вы узнаете офицеров. Это третья рота офицерского полка.

Вот капитан Займе, Ратьков-Рожнов, вот Валуев, полковник Моллер, поручик Благин, с ними два мальчика, еще неуверенно ступающих на больших сапогах по мостовой.

Куда они идут? Под Ростовом бой. Полковник Кутепов с 500 офицерами защищает подступы к Ростову. В тылу 8 тысяч рабочих Балтийского завода подняли восстание и испортили железнодорожный путь. Под Батайском генерал Марков с кадетами и юнкерами отбивается от натиска большевиков. Батайск за рекою. На окраинах слышна канонада. Потребовано подкрепление и из Проскуровских казарм ушло 50 человек. Представьте себе эту картину.

По шумной улице большого города в толкотне праздничной толпы мимо роскошных кафе, откуда раздаются звуки оркестра, проходит взвод солдат. 50 человек из пятисот-тысячного города.

И вот, когда пред вашими глазами встанут эти 50, вы поймете, что такое добровольческая армия.

"Я знаю, за что я умру" сказал Чернецов на многолюдном офицерском собрании в Новочеркасске, "а вы не знаете, за что вы погибнете".

Чернецов доблестно сложил свою голову. Он знал, за что он умрет. Офицеры, оставшиеся в Ростове, скрывавшиеся, измученные и расстрелянные, не знали, за что они погибли.

Все, что есть возвышенного в человечестве, всегда совершается одиночными людьми.

Страшный был день, когда Каледин кончил свою жизнь самубийством. 28 января атаман Каледин обратился к Дону с последним своим призывом.

"Наши казачьи полки, расположенные в Донецком округе, подняли мятеж и в союзе с вторгнувшимися в Донецкий округ банды красной гвардии и солдатами напали на отряд полковника Чернецова, направленный против красногвардейцев, и частью его уничтожили, после чего большинство полков — участников этого подлого и гнусного дела — рассеялись по хуторам, бросив свою артиллерию и разграбив полковые денежные сунды, лошадей и имущество".

"В Усть-Иедведицком округе вернувшиеся с фронта полки в союзе с бандой красноармейцев из Царицына произвели полный разгром на линии железной дороги Царицын-Себряково, прекратив всякую возможность снабжения хлебом и продовольствием Хоперского и Усть-Иедведицкого округов".

"В слободе Михайловке, при станции Себряково, произвели избиение офицеров и администрации, при чем погибло по слухам до 80 одних офицеров. Развал строевых частей достиг последнего предела и, например, в некоторых полках Донецкого округа удостоверены факты продажи казаками своих офицеров большевикам за денежное вознаграждение".

29-го Каледин собрал правительство и предложил обсудить, что делать. Во время обсуждения вопроса он добавил: "Господа, короче говорите. Время не ждет. От балтовни Россия погибает".

В тот же день генерал Каледин выстрелил в сердце покойчил себя.

Три дня по станциям Дона были в набат, был объявлен сполох, подняли казачков на защиту Дона. Собранный круг избрал атаманом генерала Назирова и призвал к оружию всех казаков от 17 до 25 лет. Последняя вспышка перед концом.

В эти дни генерал Алексеев писал своим родным. "Горсточка наших людей, неподдержанная совершенно казаками, брошенная всеми, лишенная артиллерийских снарядов, истощенная длительными боями, непогодью, морозами, голодом, истощенная до конца свои силы и возможность борьбы. Если сегодня, завтра не договорят казаки со властью, если хозяева Дона не станут на защиту своего достоинства, то будет раздвоенная численностью хотя бы и ничтожного крестьянского врага".

Нам нужно будет уйти с Дона при крайне трудной обстановке. Нам предстоит трудный по всей вероятности пеший путь и немалое терпение, предначертанное Господом Богом. Трудно сказать, как все закончится".

"Если мне Богом суждено погибнуть, то со мною погибнут и те, кто несет на себе тот же крест. Вся жизнь прожила честно. Пусть то, что погибнет тогда дело, от которого ждали известные результаты. За это будут нарекания. Но если бы кто знал ту неизреченную обстановку, при которой я прожил последние три месяца.

"Это было сплошное мученье. Голова забита и не могу молиться так, как и умел молиться в былые тяжелые дни моей жизни. Я всегда получал облегчение моему сознанию, моей душе".

9 февраля Корнилов вышел из дома Парамонова и пешком направился в станицу Аксайскую.

"Был мгlistый вечер. На мостовой по улицам лежал сухой довольно глубокий снег, который глушил звук колесной езды, и над городом было как-то необычно тихо и бесшумно. Вперед и в стороны высланы были дозоры, и Корнилов, опираясь на палку, пошел по улице, ведя сам свой штаб. Мы круто свернули с центральных улиц в пригород и, каждую минуту ожидая предательского обстрела со стороны красновардейцев из домов, пошли мимо Нахичевани. Короткий привал в лазаретной городке, и мы вышли в степь прямо на Аксай-к Дону...

Все 18 верст пути Корнилов шел впереди пешком. Луна высоко стояла на небе. Морозный лоздух был тих, сухой снег месился, как глубокий песок, под ногами. Разговоров было мало. Дум тоже мало. Жребий был брошен. Корнилов вел - все ему слепо верили". /"Поход Корнилова" - А. Порошин/.

Перед самым уходом из Ростова Алексеев написал несколько строк в письме.

"Мы уходим в степи. Можем вернуться, если будет милость Божья. Но нужно зажечь светоч, чтобы была хоть одна светлая точка среди охватившей Россию тьмы".

В этих словах заключается весь смысл Кубанского похода и больше того - всего белого движения. Ибо не в успехе, не в одних победах, а вот в этом зажженном светоче и заключалось наше предназначение.

Нельзя без этого света рассеять тьму. Нельзя осилить порождение зла и залечить гнойные раны нашей родной матери России.

Я выехал из Новочеркасска, куда я гаязжал проститься с семьей, утром 12 февраля. Генерал Кисляк, сговорившись со мной, купил сани и пару лошадей, к нам присоединился полковник Новосильцев, и мы втроем, Новосильцев за кучера, тронулись в путь.

День был весенний, теплый. На городском базаре бабы торговали опощами, молской курал, яйцами, в своей лавчонке лясник отрубал куски говядины, между рядами толкались городские покупатели, женщины в платках несли в корзинах свои закупки.

Возы с сеном и соломой, улитые золы, пьяные у трактира, говор и где-то ругань - словом, так же, как всегда, в базарный день на городской площади; даже городской в шинели с шашкой, хотя и переименованный в милиционера, но все тот же, расхаживал для порядка.

Ничто, решительно ничто не предвещало, что в тот же день через несколько часов конная батарея казаков под командой Голубова с песнями и гиканьем ворвется в город и начнется дикая расправа, наступят кровавые дни убийства атамана Назарова, Богаевского, Волосинова, убийства раненных в лазаретах, поиски за офицерами, расстрелы и ужасы.

Мы проехали по базару и мимо железнодорожной станции под аркой выехали за город. Сырой, волокнистый туман поедал снежный покров. Все размокло. По дороге стояли лужи. Лед на Дону размяк и стал гнуться.

В Старо-Черкасской станице на площади стояло два-три орудия с зарядными ящиками, как будто брошенные. Какие-то конные казаки проезжали мимо. Кто они: свои или враги? Остановят ли нас или пропустят?

Миновали станицу и далее все той же однообразной унылой равниной во мгле тумана, по дороге, изрытой промоинами, кое-где среди кустарника, но больше среди оголенного снежного пространства мы пробирались к станице Ольгинской.

Стало уже вечереть, когда нас остановила застава. Это были знакомые офицеры. Ну как, что? Они рассказали последние новости. Наши части уже все собрались в Ольгинской. Одно время тревожились за отряд генерала Маркова, но вчера он пришел, пробившись из Батайска. Ожидают прихода генерала Попова с казакami. Куда идем, еще не решено: или в зимовники за Маныч, или походом на Екатеринодар.

Со стороны Ростова слышны были орудийные выстрелы. Мы прислушивались к ним и не могли понять, что там происходит.

"Вот-бы ударить на них. Живо сняли бы всю эту сволочь"-сказал ротмистр - "то то-бы потеха была".

Мы тронулись. Зарево пожара заалело в тусклой вечерней мгле. В Ольгинской, переезжая дамбу, мы встретили полковника Моллера. Оба мои сына живы. Убит Ратьков-Рожнов. Я живо помню Владимира Ратькова-Рожнова. Высокий ростом, красивый, статный. В его открытом, молодом лице было столько светлого, радостного, что нельзя было не полюбить его с первого взгляда. И все любили его: товарищи, знакомые. Он был любимец матери.

Казалось, ему предназначена счастливая жизнь. И вот на двадцать четвертом году убит среди пустыря в Бахичевани.

Моллер рассказал нам. При отходе один из наших офицеров, раненный остался в окопах. Ратьков-Рожнов и мой старший сын ползком стали пробираться, чтобы вытащить его. Слышали пули и нельзя было поднять головы. Ратьков-Рожнов чуть приподнялся, чтобы оглядеться, и был убит. Его тело едва удалось извлечь из-под пуль.

В Ольгинской, когда его хотели похоронить в ограде церкви, священник отказал. При жизни к ним никто не шел навстречу и при смерти отворачивались от них. Да, они были одиноки.

И сколько их, этих могил, разбросано по хуторам и станицам Кубани. И кто они, эти неизвестные, дети кубанского похода? Кто знал их, кто их помнит?

Молодецкий прапорщик, почти мальчик, сын богатых родителей, был близок к Росту, уходил с нами в поход под чужим именем, чтобы не подвергнуть опасности своих родных. Он погиб: где, как, никто не знает.

Кто вспомнит его кроме тех, кто видел кроткие, карие глаза и детскую его улыбку, кто знал его еще младенческую душу. Он остался лишь в сердце своих родных, он, этот неизвестный, погибший где-то в степях Кубани.

Владимир Ратьков-Рожнов. Закрыв глаза, я вижу его перед собой. Я вижу всех их, этих детей кубанского похода. Все они наши родные.

Тяжела была их служба. Ратькову-Рожнову генерал Лукомский предлагал перевестись в штаб, но он решительно отказался. Он остался рядовым, как и все. Смерть освободила его от несения долга.

Когда мы возвратились на Дон, к нам в Ольгинскую станицу приехал его старший брат, последний из трех братьев, оставшийся в живых. Он оставил молодую жену и маленькую дочь и приехал заменить своего брата.

Его мать сказала ему: "Мне легче видеть тебя убитым в рядах добровольческой армии, чем живым под властью большевиков".

А кто не поймет, какая мука матери скрывалась в этих словах. "Ты должен" — и мать посылает последнего сына идти заменить брата.

"Ты должен" — сознавал каждый из них. И они шли... пятьдесят человек среди тысячной толпы, шли в степи по грязи, в стоптанных сапогах, в снежную пургу в рваных шинелях, шли и шли тысячу верст.

В сумятице жизни растоптаны героические чувства. Разбит возвышенный порыв. И прохожий пройдет мимо и не оглянется.

В вечернем воздухе раздавался звук трубы. На молитву. В рядах люди сняли папахи. "Отче наш" пронеслось в тишине по улице Ольгинской станицы. Заревое пожара еще ярче разгоралось в сумерках наступающей ночи.

У.

В Ольгинской станице к нам присоединился И.А.Родионов, пришедший пешком из Новочеркасска. Мы сменили сани на подводу, Иван Александрович купил поросного коня, и мы тройкой, парой в дышло и киргизенок на пристяжке, четвером на телеге двинулись в путь.

Новосильцев Леонид Николаевича я знал давно, еще со времен земских выборов. Он был либеральным земским деятелем, принадлежал к партии народной свободы, был членом Государственной Думы, присяжным поверенным. Во время войны я встретился с ним во Львове, где он был командиром ополченской батареи. В революционные дни он виделся, как председатель офицерского союза в ставке, вел отчаянную борьбу с развратителями армии, был арестован и вместе с генералом Корниловым заключен в Быхове.

Но во всех разнообразных видах — присяжного поверенного, кандидата, члена думы, общественного деятеля — он оставался тем же не городским, а деревенским коренным руссаком.

В подседло, в больших сапогах, в розно по упряжке лошадей и смазывании колес он чувствовал себя гораздо лучше, чем в белой зале Таврического дворца или во фраке с адвокатским значком.

Я помню это во Львове среди бородатых дядей ополченцев, показывающих выхороненных лошадей своей батареи. Так и казалось где-нибудь в нашей усадьбе барин-помещик подит гостей по своему хозяйству.

И здесь в походе он оказался как раз на своем месте. Все нагое с него слетело. Точно он родился ящиком, и невозможно было себе представить того же Леонида Николаевича представляющим запрос ненавистному правительству с трибуны Государственной Думы.

Есаул Родионов был известен, как писатель правого лагеря. "Наше преступление" вызвало в свое время бурю негодования в либеральных кругах.

Судьба соединила нас, как-бы нарочно столкнула политических противников на одной телеге в течение длинного ряда дней нашего похода.

Родионов — человек трезвого, положительного склада ума, был чужд какой-либо идеализации народа. Он понимал все значение бита и ненавидел то, что разрушает быт, старый уклад народной жизни.

На казачество Родионов возлагал большие надежды. Он был уверен, что казачество стряхнет с себя революционное наваждение, потому что в казачестве крепок бытовой уклад, тогда как в русской деревне быт разрушен. "Для народа нужен устав", повторял он, "без устава русский человек пропал".

В противоположность Новосильцеву и Родионову, генерал Кисляков всем своим прошлым был связан с городом.

Воспоминания его сводились к приятному образу жизни в Варшаве, о котором он и любил рассказывать на стоянках, отлекаясь от окружающей далеко не комфортабельной обстановки.

В походе он чувствовал себя как-бы посторонним. Таковы были спутники, которых послала мне судьба в кубанском походе.

При въезде из Ольгинской станицы, на площади нам встретились длинные дроги. В них сидел бритый немец-колонист и рядом с ним возчик, правивший парой лошадей в веревочной сбруе.

— "Не узнаете?" обратился к нам немец. Кто такой? голос, как будто, знакомый. "Неужели это вы, Александр Сергеевич?"

Да, это был генерал Лукомский, а возчик генерал Ронжин. На окрестности мы с ними расстались. Они направлялись прямым путем на Екатеринодар с поручением к генералу Эрдели.

Вечером, когда мы сидели в станице Хомутовской за ужином, нам и в голову не приходило, что только-что встреченные нами утром генерал Лукомский и Ронжин захвачены большевической заставой и едва избежали дикой расправы. Какая-то случайность спасла их, находчивость генерала Ронжина выручила от расстрела в революционной трибунале, и из сарая, куда их заперли, им удалось бежать.

Нам угрожала со всех сторон опасность. Помню-к нам заходил капитан Рожанко и уговаривал ехать с ним на Торговую и оттуда пробраться в Москву. Через несколько дней мы узнали, что капитан Рожанко со своими спутниками был схвачен и убит. Обезображенные тела их были выброшены в колодезь.

Редкий день проходил, чтобы мы не узнавали, что тот или другой из знакомых погиб. Смерть стала обыденным для нас явлением.

Из Хомутовской мы выехали рано утром. Обоз почему-то замешкался, и мы оказались совершенно одни в телеге среди степи.

Мы переехали полотно железной дороги у будки и покатили по ровной, накатанной дороге. Гладко, серо и уныло кругом. Не успели мы отъехать и с полверсты от разъезда, как Родионов, сидевший спиной к нам, сказал: "Вон лешие за нами следят".

Я обернулся и увидел, как презина остановилась у разъезда, из нее вылезли какие-то люди и на крыше у трубы показалась фигура человека. Очевидно, нас выслеживали.

Мы продолжали ехать на рысях. На всем пространстве голая степь. Не видно ни одного дерева, ни строений, ни одной повозки на дороге, никакого живого существа. Пустыня кругом.

На сером фоне издали показались две движущиеся черные точки. Они двигались то быстро, то останавливались. Стали видны всадники. Вот они остановились, вот опять поскакали наперерез нам, точно охотники в поле за зверем.

Мы приготовили винтовки. Телега остановилась. Очертания всадников стали совсем ясны. Вдруг они свернули в сторону и стали быстро удаляться от нас.

Поздно вечером, когда подошел наш обоз, мы узнали, что при выходе из станицы Хомутовской конный отряд большевиков сделал нападение на наш обоз как раз у переезда, близ железнодорожной будки. Опоздай мы на каких-нибудь полчаса, и мы были бы захвачены большевиками.

Мы шли походом от станицы к станице вдоль Маныча, делая переходы по 25—30 верст. В станицах казаки не относились к нам враждебно, но они, как тогда говорили, "держали нейтралитет". За все мы платили — за стол, за ночлег, за сено и овес для лошадей. Было строго запрещено что-либо брать даром. Хозяйки, большей частью, были радушны, охотно готовили для нас и угощали жирными щами и одобными пылками. В станицах всего было в изобилии. Ни в чем мы не терпели лишения.

Комнаты в казачьих домах были всегда опрятно убраны. В переднем углу иконы в золоченых ризах, царские портреты по стенам, в большом шкафу фарфоровая посуда, вышитые подушки и одеяла на опорошной постели — все свидетельствовало о старом укладе и о довольстве хозяев.

В каждой станице собирался сход. Генерал Корнилов держал перед станиками речь. Казаки слушали, но к нам не присоединялись.

Сколько раз на стоянках есаул Родионов старался растолковать хозяевам, за что мы боремся. Хозяин-казак как-будто соглашается, подумает и вдруг скажет: "Нам ничего дурного не сделают. Они с буржуями все, а нас казаков не тронут". Александр Иванович рассердится, опять примется вразумлять, а толка никакого — так и махнет рукой. Помню в Мечетинской мы остановились на постоялом дворе.

Молодая еще женщина-вдова держала все хозяйство в своих руках. Хозяйство было большое; во дворе стояло несколько троек. Вела она хозяйство, видимо, умело и строго. Это заметно было и по опрятности в комнатах, и по чистоте посуды, которую нам подали, и по тому, как слушались ее конюха и прислуга. В сумятице, происходившей кругом, она умела разобратся. Ей не зачем было растолковывать, она сама все понимала.

С решетчатого балкончика, на котором мы сидели, был виден въезд с околицы станицы. Конный разъезд спускался по косогору. Лошади, забрызганные пятнами грязи в груди и в боках, шаг за шагом ступают, погружаясь ногами по колено в расплывшуюся глину.

Повозки, телеги с обозной кладью, еле выворачивают колеса из липкой грязи. Конвойные пешком, возчики, отряд пехоты, разбившись по одиночке, стараются пробраться по сухому месту, где протоптана тропинка.

На повороте у околицы показалась группа всадников. Впереди на плотном буланом коне генерал Корнилов. Он слезает с седла и пешком направляется по той стороне улицы, по тропе вдоль забора.

У домов стояли женщины, дети, станичники. Возле ворот нашего въездного двора высокий сухопарый казак. Фуражка на бекрень. Зацепанный вихрем, клок волос из-под фуражки. Уши закручены.

"Вот идет разбитая армия", с усмешкой сказал он так, что слышно было с балкона. — "А вы то, победоносное воинство, с фронта от немца бежали!" — тотчас напласть ответить ему наша хозяйка. Казак обернулся, весь побагровел и, злобно взглянув на нее, скрылся.

"Ну и холодец — хозяйка", сказал Александр Иванович, "так ему подлецу и нужно". Меткий ответ нашей хозяйки "не в бровь, а в глаз" задел его самолюбие. Не было казака, который не признавал бы своей вины, бросив фронт. Одни скрывали это сознание в наглой выходке, другие — в молчаливом уклонении. Никому не было охоты осуждать жену, хозяйство и идти в поход.

"Чего я пойду месить грязь" — сказал как-то здоровенный пареня, когда его звали идти с нами.

"Наше дело сторона" — говорил мне на одной из стоянок бойкий малый лавочник. "Поглядим, чья возьмет".

Вот это "чья возьмет" и было решающим в поведении большинства. По колени в грязи или добровольцы от станицы к станице среди населения, державшего себя в стороне, в ожидании, чья возьмет.

Под вечер к нам на постоянный двор зашли два казачьих офицера. Они только-что вырвались из Гуляй-Борисова, где их окружили мужики с вилами и дрекольями. Едва им удалось отбиться и ускользнуть. Один из них получил удар дубиной в спину.

Когда на другое утро мы выезжали из ворот постоянного двора, казачьи офицеры вышли на балкончик провожать нас. Они и не подумали пойти с нами, а остались в станице.

БОЙ ПОД ЛЕЖАНКОЙ.

Обоз растянулся табором в ложине на скате пологого бугра. Холодный, резкий норд-ост, мучивший нас ранним утром в пути, сменился мягким дыханием теплого воздуха.

Был ясный, весенний день, один из тех дней, когда живительная отрада разливается в ярких лучах солнца, когда все радуется кругом: и разорванная полосами белая пелена снега, еще более белая среди черных прогалин, и голубая, безоблачная даль неба в солнечном сиянии и блеске, и искры на снегу, и весенний воздух, которым дышешь, и запах полника и прелой травы, какой-то запах земли на широкой уже оттаявшей луговине, где остановился обоз.

И лежал у горящего костра, над которым в дыму висит котелок, готов забиться, и как-то не думается о том, что происходит там за бугром, где с утра идет бой.

В голубом небе вдруг вспыхнет белое облачко и все расширяющимся и расширяющимся кольцом исчезнет в синеве, а там другое, третье, а то сразу как будто из самой глубины неба внезапно появятся и забелеют разом три и медленно поплывут в вышине, и как-то трудно представить себе, что белые дымки в синеве неба — это разрывы снарядов. Выстрелов в ложине не слышно.

Отпряженные лошади стоят у телег, лениво выхватывает то та, то другая солому из воза, дремлет на ридване возчик, у разведенного костра расположились раненные, слышен говор, где-то лай с баченки.

И после усталости утреннего перехода не хочется отрываться от тихой дремоты. Но вот раздается команда. По обозу проезжает всадник. Всех, у кого есть оружие, вытаскивают в цепь.

С правой стороны далеко за ложиной показалисьдвигающиеся точки — и разобрать трудно, овцы ли это от стада, рассыпанного по степи, или что-либо другое.

Наши люди, выбегая из обоза, стали быстро направляться по спуску оврага. Видно, как они, раскинувшись цепью, продвигаются к ручью. Глядя в бинокль, я как-будто различил далеко на той стороне за ручьем медленно продвигающихся всадников. Они то останавливались, то опять приближались. А там сзади показалась еще какая-то конная группа. Но вот один за одним они повернулись и уже быстро стали удаляться и скрылись из вида на горизонте.

Решимости наступать у них, видимо, не хватило. Наши цепи стали возвращаться назад. Вернувшийся с холма, возвышавшегося перед нами, офицер рассказывал, что оттуда, как на ладони видна вся картина боя. Мы тотчас пошли в гору. Рядом с нами в излучке на маленькой лошадке ехал пожилой полковник. Он, стоя в тележке, правил. И странно было видеть этого сухощавого с седоватой бородкой полковника в его офицерской шинели с помятыми погонами в роли возчика, погоняющего пожмами лошадку. Он подвязывал пулеметные ленты в цепь. Мой спутник поговорил с ним. Это был его знакомый.

"Вы вон на тот бугор идите, оттуда все видно", указал полковник. Мы свернули вправо, а его лошадка в двуколке с медленно вращающимися большими колесами продвигалась по дороге.

Как только мы поднялись на вершину, тотчас неслышный внизу орудинный грохот своею внезапностью поразил слух.

Всего в нескольких стах шагах была полная тишина. А здесь непрерывный грохот, треск и среди ударов пушечных выстрелов резко выделяющийся машинный пулеметный стук.

Широкая отлогая равнина вся залита солнцем. На скатах и внизу вдоль ложины белые снежные полосы.

Видна вьющаяся в извилистых берегах речка, местами выбившаяся из льда темною лентой, местами покрытая снежным покровом, а на той стороне за речкой огромное селение, серая масса кустов и деревьев и среди них белые домики.

Ясно выступает здание ближней церкви, а там еще купол и колокольня и ряд ветряных мельниц на горизонте. И вся эта долина, залитая солнечным светом под голубым небом, оживлена шумом, грохотом, вспыхивающими клубками дыма, движеньем людей.

Простым глазом видно в кустах по берегу речки какое-то движение, на мосту скопление какой-то кучки, темная полоса окопов ясно выделяется на белом покрове снега.

Влево от нас внизу на открытом месте два орудия. Ясно видны движущиеся около орудий люди. Заглушая общий гул, резко раздается удар то одного, то другого. И снова быстрые движения людей и один за другим два резких оглушительных выстрела.

Подальше видна на пригорке группа, кто-то стоит впереди, за пригорком кочевье. Нам сказали, что там генерал Корнилов.

Двуколка, запряженная маленькой лошадкой, тихо спускалась по дороге и завернула возле телеграфного столба. То тут, то там подымается от земли черный столб пыли, лопаются белым облаком в воздухе снаряды.

"Двинулись". Офицерский полк. Вон генерал Марков, белая папаха, "молодцы". Раненый возле меня глядел в полевой бинокль. Я старался разглядеть. Из-за возвышенности быстро выдвигалась на широком пространстве темными точками линия наших цепей.

Белые дымки учащенно зачехлялись в той стороне и усиленно застучал резкий звук пулемета. "Дрогнули, бегут", все также глядя в бинокль, сказал раненый.

Он передал его мне. Я увидел, как из окопов выскакивали и бежали по белому снегу, в кустах за речкою зачехлялись такие-же бежущие, а на мосту видно было, как вся скопившаяся кучка вдруг расбежалась, и вслед затем на мост с другой стороны вбежали наши офицеры.

Леханка взята. Это была атака офицерского полка, когда генерал Марков бросился впереди своего полка на мост прямо лобовым ударом под огнем пулеметов из неприятельских окопов, окаймлявших Леханку.

Когда мы вернулись к обозу, там царило то возбужденное, приподнятое настроение, которое всегда сопровождает успех на поле сражения. Всюду радостные голоса, оживление.

Люди суетились, собирали котелки, пожитки, усаживались в повозки, запрягались лошади и одна за одной стали двигаться повозки, выезжая из обоза.

Тронулись и мы в нашей телеге сначала в гору по большому тракту на вершину холма; обогнув его, стали спускаться по пологому скату.

Когда мы проезжали возле дороги, мы увидели опрокинутую двуколку с разбитым колесом и труп убитой маленькой лошади. Сестра в белой косынке и несколько человек стояли возле и тут-же лежало на земле тело старого полковника с седенькой бородкой, в офицерском пальто, того самого полковника, который встретился нам по дороге в двуколке.

Снаряды большевиков рвались большей частью высоко в воздухе, этот же снаряд разорвался над самой повозкой, и старший полковник был убит, убита его маленькая лошадь.

Наши офицеры капитаны, ротмистры, полковники несли тяжелую службу рядовых. По ночам стояли в заставах и, сделав переход в 30-40 верст, тут-же принимались смазывать и прочищать винтовки, чинить свою обувь, исправлять пулеметы.

А тот, кто уже не мог идти в строй, как этот старший полковник, в обозе исполняли должности возчиков, санитаров, прислуги.

Мы вехали уже под вечер в селение по деревянному большому мосту через речку. По ту сторону моста лежал распластанный наземь огромный детина. Голова его казалась ненормально большой на грузной теле. Рана на лбу. Все лицо обезображенное представляло массу, не похожую на человеческое лицо.

Это было огромное туловище с раскинутыми руками и ногами, но с странной нечеловеческой головой. Тут-же в том и в другом положении были видны трупы убитых: кто в кожаной куртке, кто в солдатской шинели, с босыми ногами, обернутыми тряпками.

В селении еще раздавались отдельные выстрелы то там, то здесь, когда мы подвезжали к ближайшим хатам.

Какой-то человек низенького роста, испуганный, стал отворять перед нами ворота и звал остановиться у него. Он что-то бормотал несвязное, в чем-то уверял нас. Вслед за ним вышла какая-то женщина в платке и тоже запинаясь языком говорила какие-то непонятные слова.

Мы заехали в ворота и пошли в дом. Комната была просторная, опрятно убранная, с занавесками на окнах. Три низких железных постели стояли вдоль стен, два сундучка. На подоконнике лежал наган и были разбросаны патроны. Здесь у нашего хозяина жили артиллеристы-офицеры. Незадолго до нашего прихода они были захвачены и отведены на суд. Перепуганный хозяин суетился около нас, уверяя, что он тут не при чем.

Нам подали самовар, принесли молока, хлеба. Зажгли лампу. Я стал разглядывать наше помещение. На белой стене углем были нарисованы рисунки.

Силуэты трех молодых людей и рядом с ними три револьвера. Видимо это были изображения тех офицеров, которые жили в этой комнате перед нашим приходом. Потом еще несколько женских головок, бойко нарисованных углем.

На столе около окна лежало несколько томиков книжек без переплета; среди них Пушкин, так и оставшийся раскрытым на одной из страниц; лежали в беспорядке бумаги и пачка писем. Одно из них, развернутое на столе, привлекло мое внимание. Я невольно взглянул на него. Написано четким женским почерком: "Дорогой мой и ненаглядный"...

И странно было. Мы ворвались в чужую жизнь, держим в руках вещи, которые нам не принадлежат; собираемся спать на постелях, которые только прошлой ночью были заняты какими-то нам неизвестными офицерами.

Кто-то из них, видимо, умел хорошо рисовать, кто-то читал пушкинские стихи, у кого-то из них была возлюбленная, которая писала ему, называя — мой ненаглядный.

И вся эта жизнь вдруг прервана нашим приходом. Старый полковник убит, здоровенный парень в луже грязи в обезображенном виде, в котором нельзя уже узнать человека, и эти три офицера, жившие здесь, в глухом ставропольском селении, каждый своими повседневными заботами, схвачены и уведены на суд.

Хозяин нашей квартиры суетливо доказывал нам, что офицеры старались удержать людей от боя, что их насильно угрозами заставили, а главное — он выгораживал самого себя, уверяя, что к нему-то на квартиру их поставили по принуждению.

Подумать было тяжело: молодые офицеры — артиллеристы 39 пехотной дивизии, быть может, участвовавшие во взятии Эрзерума, теперь руководили солдатами в бою против нас. Что могло их побудить примкнуть к большевикам?

По времени им слышны были одиночные, сухие ружейные выстрелы. И.А.Раднонов дернулся из штаба с известием, что двое оправданы, а третий, кажется, осужден.

Он прибавил, что осужденных тут же расстреливали в садах. "И представьте себе, кто принимал участие в расстреле", сказал он, "баронесса Боде".

Я хорошо помню ее. Молоденькая, красивая девушка с круглым лицом, с круглыми голубыми глазами, в своем военном мундире прапорщика казалась нарядным и стройным мальчиком.

Дочь русского генерала, воспитанная в военной среде, она не подделывалась под офицера, а усвоила себе все военные приемы естественно, как если бы она была мужчиной. В круглой меховой шапке, надетой немножко на бок, в высоких лакированных сапогах и в хорошо сшитой военной поддевке, она не могла не нравиться.

Ею невольно любовался всякий, как молодым красивым созданием. Много было в ней неделанной, а действительной военной удачи. Она отличалась еще в боях на улицах Москвы, направляя пулемет против большевиков, наступавших на площадь храма Спасителя. В походе мне часто приходилось видеть ее верхом в конном отряде. Она погибла геройской смертью в конной атаке в садах перед Екатеринодаром.

Рядом с ней в той-же конной атаке погиб молодой князь Туркестанов. Ему едва минуло 16 лет. Это был мальчик с бледным, женственным лицом и с черными, пылающими глазами.

Нет ненавистей более жестоких, чем ненависти гражданской войны. Но горе тем, кто посеял эти семена ненависти в детской душе.

Я помню маленького кадета. Он ехал с нами в походе на белой лошадке, с карабином за спиной. У него был тонкий, детский голос. Он плакал, рассказывая, как убили его отца генерала и старшего брата на его глазах.

Вечером, охваченный впечатлениями прошедшего дня и невольным радостным чувством от нашей победы, не думаешь как-то о своих; мысль, не ранены-ли, не приходит в голову, но с какой-то тревогой идешь по липкой грязи станичной улицы рано по утру разыскивать расположение 3-ей роты офицерского полка.

Кто-то сказал мне, что в роте полковника Кутепова много раненых и есть, кажется, убитые. Распрашиваешь у встречных офицеров, в каком конце расположился офицерский полк, идешь и страшно идти, страшно узнать, что убитым окажется один из моих.

В переулке валяются в канаве у плетня два трупа. Свиньи, когда я проходил, отбежали от канавы. Говорили, что свиньи едят человеческие трупы. И неприятное ощущение усиливает тревожное настроение.

Завернув за угол по направлению к указанной мне белой хатке во дворе, я увидел на улице своих. Офицеры, кто напирая сзади, кто за оглобли, тянули из грязи артиллерийскую двуколку. По смеху и веселым голосам я сразу узнал, что у нас все благополучно. От сердца отлегло.

Как весело и радостно было увидеть своих. У младшего оказался легкая царапина на верхней губе от осколка снаряда. Какое счастье. На волосок, и молоденькое лицо его было бы навсегда обезображено. Теперь с повязкой под носом он забавно, по детски смеялся.

Рота их перешла в брод речку. Пробивая лед прикладами, друг за другом они перешли через воду и вскарабкались на другой берег. Вода была по пояс, но чуть в сторону-и сразу становилась по горло. Капитан Займе /у него было больное сердце/ чуть не захлебнулся, погрузившись в холодную воду; его подхватили, вытащили за руки на берег.

Появление их в селении было так неожиданно, что их приняли за своих. Какой-то начальник, верхом на коне, подскакал к ним и, махая саблей, кричал, чтоб все собирались к церкви.

За мной, товарищи! - Ружейный залп - и он свалился замертво с седла. Большевики бросились бежать. Площадь сразу опустела.

Продрогшие в ледяной воде, они тем только и спасались, что ныли тут же вечером ведро водки.

Все это рассказывалось веселыми, молодыми голосами, и сын Займы-тан Займе /папаша, как его звали младшие/ смеялся /он чуть издохнул/, как над забавным случаем, над своим приключением.

"Удовольствие, скажу, не из прияжных", говорил он, стоя в рубашке, с босыми ногами у горячей печки, "утонуть в речке под Лежанкой"!

Все это выносилось легко. После тяжелых дней Ростова, когда чувствовалось, как веревка все более и более сжимала горло, победа над большевиками вливала столько бодрости и уверенности в своих силах. Казалось, весь поход мы сделаем, как военную прогулку.

Лежанка, огромное селение Ставропольской губернии, расположено на границе войска Донского. Обширные владения, как говорили до 100 тысяч десятин, принадлежали сельскому обществу. Лишь меньшая часть земли была под пашней. Необъятные пространства оставались под залежами, ковыльными и пырьевыми степями.

На них паслись гурты скота. Урожай снимали до 200 пудов пшеницы. В редком дворе не стояли скирды нсмолоченного хлеба. Повсюду сытость и довольство.

Для тех, кто видит в русской революции социальную, вызванную крестьянским малоземельем, есть над чем задуматься. О каком земельном утеснении можно говорить, когда кругом на десятки верст колышется степная трава, как необозримый, безбрежный разлив.

"Земля и поля" — куда-же еще больше! Целый день иди по степи и кроме вольной птицы в небе и моря козыля, колеблемого ветром, ничего не увидишь. А между тем, это богатейшее ставропольское селение было гнездом большевизма.

Так же, как и в казачьих станицах фронтовики, так и в Лежанке большевиками оказались солдаты, ушедшие с чавказского фронта и застрявшие в Ставропольской губернии.

К ним тотчас примкнул весь сброд бездомных, воров и конокрадов, выпущенных из тюрем и вернувшихся в село.

На кого-же были направлены революционные ненависти в Лежанке? Помещиков никто никогда и в глаза не видел. Против богатых, но здесь каждый был богат.

Прежде всего произошел бабий бунт. Бабы разгромили лавки и растащили мануфактурный товар. Высокая цена на ситец вызвала бабий бунт. Потом принудили мельников даром молоть зерно. Учинили разгром винных лавок. Убили волостного старшину. Образовался революционный комитет. Какой-то солдат встал во главе. В большом здании школы происходил суд и приговоренных расстреливали тут-же у забора.

Все население безропотно покорилося новой власти. Все это я узнал по расспросам у местных жителей, когда мы стояли в Лежанке.

"Они говорят за трудовой народ", жаловался мне мельник, у которого отняли его ветрянку, "а я все своим горбом нажил, своими руками сам все смастерил. Какой-же я буржуй?" - И он показывал свои мозолистые, корявые руки: "Тоже сицилисты до чужого добра".

Когда все это видишь, понимаешь слова Пушкина:

"Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный".

У II.

В Лежанке мы простояли несколько дней в ожидании подхода казаков с походным атаманом Поповым. Но Попов отказался идти с нами, и тогда было принято решение двигаться на Кубань.

Обыкновенно мы делали переход днем верст 30-40 и останавливались на ночлег с тем, чтобы с утра вновь подняться в путь до следующей остановки, но в Веселом, куда мы приехали под вечер, был дан приказ трогаться ночным переходом.

Мы знали, что нам предстоит трудный переезд через полотно железной дороги из Ростова на Тихорецкую. На этом пути нас караулили броневые поезда. Настроение было тревожное, когда вечером мы выезжали из Веселого.

Днем пригревало солнце, ночью было нестерпимо холодно. Даже под одеялом мерзли ноги и трудно было согреть костеневшие пальцы.

Курить было запрещено, запрещено громко разговаривать. Прижавшись вчетвером, мы молча ехали в нашей телеге. Луна не светила и в полной темноте лишь звезды горели в морозном воздухе, своими блесками как бы усиливая окружающий холодный мрак. Повозки двигались одна за одной, стуча колесами по мерзлой земле.

"Стой" - прокричал кто-то. Всадник вдруг выделился из темноты рядом с нами. Мы остановились, а передовые повозки продолжали ехать все дальше и дальше; слышен был стук колес удаляющегося от нас обоза. Мы сбились с дороги и проехали куда-то далеко в сторону. Всадник поскакал вперед остановить и вернуть обратно оторвавшийся от нас обоз.

Куда же ехать? До рассвета нам нужно было перейти железнодорожный путь. Сбившись, мы потеряли время и сами не знали, найдем ли дорогу. Повернули обратно. Вот в темноте показались огни какого-то хутора. Тот ли, откуда мы выехали или опять заблудились? Было жутко чувствовать себя потерянными в ночном мраке. Холод охватывал и лицо, и ноги, и руки; холод ощущался в спине под меховой курткой. Я слез с повозки, нащупывая в темноте землю, и прошел в ближайшую избу. Она была битком набита народом. Кто стоял, кто скорчившись сидел, а кто и уснул, растянувшись на полу.

Тускло горела висячая лампа. Было душно от табачного дыма и от дыхания людей, набившихся в комнату. "Обоз уехал Бог знает куда. Ади теперь, когда он вернется" - сказал чей-то грубый голос. "Эдак они всех нас подведут".

Кто-то ругал тех, кто должен был стоять на перекрестках и указывать путь.

В комнате было темно, клонило ко сну, глаза сами собой смыкались. Качнешься в сторону, подымеешь голову, и опять охватывает дремота. Встрепенешься вдруг от тревоги. Страшно пропасть, сидя здесь в этой комнате, а выходить не хочется из тепла опять на холод.

Сон на ногах у стены в забытьи в душной комнате был мучителен. Сколько я простоял в хате? был ли это час, два или минут двадцать — тридцать? Я очнулся от движения и толкотни, поднявшейся в комнате. Из раскрытой двери дунуло холодом. Все выходило в темноту на улицу. Я отыскал своих, уселись в повозки и тронулись. Всадник указывал нам путь.

Во время войны при боевых действиях, равно как и в походе, весь вопрос заключается в том, чтобы, сохранив всю напряженность воли, преодолеть усталость физическую и моральную такую, что человек готов свалиться с ног, глаза сами собой смыкаются, мысль застывает. Все равно, чтобы ни случилось, лишь бы не делать усилий и уснуть хоть на мгновение.

Один боевой офицер рассказывал мне, как во время ночного перехода он, не спав несколько ночей подряд, идя во главе роты, вдруг заснул стоя, и вся рота сзади него остановилась. Он очнулся; те, кто шел впереди, скрылись, шагов не было слышно.

Перед ним две дороги расходились. Его охватил ужас. Он бегом повел своих людей и, к счастью, попал на правильный путь.

То, что пережил этот офицер, пришлось и нам пережить в ночном переходе из хутора Веселого. Обоз наш, сбившийся с пути, проехал в сторону по направлению к станции Павловке. Он не доехал всего 2-3 версты. Огни уже были видны. Еще несколько минут и весь обоз без охраны боевых частей прямо попал бы в руки большевиков.

Нас спас счастливый случай. Нет, спасло нас то, что среди наших людей была вот та напряженность воли, которая одна только и спасает из тысячи случаев. Кто-то, кто не свалился от усталости и не спал, остановил обоз и повернул его обратно и то, что должно было послужить к нашей гибели, оказалось в нашу пользу.

Шум колес от приближающегося обоза был услышан на станции. По телефону затребованы боевые поезда. Большевики готовились встретить нас в Павловке и открыли нам путь у разъезда в станции Боро-Улешковской.

Уже стало светать, когда мы подехали к косогору. От косогора спускалась лощина. Внизу тянулось длинное болото, покрытое высокими зарослями камыша. По топи была устроена плотина из жердей, прикрытых камышевыми настилом. Повозки сгруппировались возле гати и медленно одна за другой переправлялись на ту сторону.

Было холодно. Солнце еще не грело. Земля была покрыта белым инеем. Кто-то притащил из ближайшего хутора старую солому и навоз. Зажгли костер. Густой белый дым поднимался кверху и пламя то вспыхивало, то пропадало в дыму. Около костра жались люди, отогревая свои замерзшие руки.

Одна из телег провалилась на мосту. Приходилось ее вытаскивать. Опять задержка! А солнце поднималось все выше и выше. Наконец повозку вытащили, исправили гать, застлав ее нарубленным камышом. Обоз тронулся, медленно спускаясь с бугра и колыхаясь по мягкому настилу гати, переезжал и вытягивался в гору на том берегу.

Наша повозка переехала через гать и затем покатила по гладкой убитой дороге. Лошади бежали рысью в гору. Мы спешили доехать как можно скорей. Конные раз'езды подгоняли наших возчиков.

Переезд должен был совершиться в темноте, чтобы нас не могли заметить из ближайшей сторожки. А солнце уже ярко светит. Видна насыпь и телеграфные столбы. Обоз мчится и влетает с грохотом в улицу станицы.

Было воскресенье. У домов на заваленках сидели разодетые по праздничному станичники. На базарной площади толпа, в ярких цветах разряженные женщины, казаки в черкессках с галунами, в папахах с красным верхом.

Звон церковного колокола разносился над всей этой пестрой толпой между рядами лавок, на площади возле церковной ограды.

И странно было видеть этот праздничный люд, здоровый, рослый, с любопытством оглядывавший нас, едущих прижавшись по трое и четверо на повозках по базарной площади.

"По роже видно, что большевик" — сказал угрюмо Ал.Ив., указывая на рыжего малого, который, глядя на нас, ухмылялся, полузгибал семечки, отплевывая шелуху. И опять как-то остро почувствовалось: "Кому мы нужны?"

Всю ночь мы промучились, иззябли, бока болят от тряски по мерзлой земле. А здесь, в каких-нибудь ста верстах от Ростова, где теперь идет кровавая расправа над беззащитными людьми, другие люди, тоже русские, все так же справляют праздник; рядятся женщины, веселятся молодые казаки и нет им никакого дела до нас, захватят ли нас броневые поезда, зарубят ли и расстреляют большевики, погибнет ли генерал Корнилов.

Мы шли освобождать Екатеринодар. Мы возлагали надежды, а встретили: полную безучастность, как и на Дону.

Мы переехали мост через речку и поднялись далее в гору к железнодорожной будке у переезда. Возле будки стоял генерал Корнилов и офицеры штаба; генерал Марков в своей белой лохматой папахе, по которой издали можно было его узнать, как всегда подлинный, на ходу поздоровался с нами, быстро переходя дорогу.

На пригорке расположился вдоль дороги офицерский полк. Я увидел своих после тяжелого ночного перехода. Они говорили, что ничуть не устали. "Мы привыкли, все равно, что на охоте", сказал младший — это после 40 верст в ночную темь при стуже, от которой я насквозь продрог. Долина ровным скатом спускалась на далекое пространство. То тут, то там отдельные группы деревьев и внизу роща с ее серыми зимними сучьями.

Направо речка быстро катила свои воды под мостом, а по ту сторону красивые здания мельницы и в садах белые хаты станиц. Вдаль поднимался другой берег. В нем была видна глубокая впадина, были телеграфные столбы и далеко белая будка.

Но вот возле будки показался черный дымок и след из-за бугра на впадине выдвинулся черной точкой паровоз. Раздался резкий звуковой выстрел в утреннем морозном воздухе и граната ударилась в черную землю пахоты в саженях 200 от нас. Опять удар и снова граната высоко подняла кверху столб черной пыли и дыма.

Офицерский полк поднялся с привала и заколыхались елки. Паровозики тронулись все быстрее и быстрее по дороге.

С нашей стороны, откуда не было видно, тоже прогремел звуковой выстрел, другой, третий — и оттуда, где остановился в впадине поезд, неслись ответные удары. Мы отъехали уже далеко, но картина артиллерийского боя была перед нашими глазами.

В бинокль можно было хорошо разглядеть паровоз, стоявший на бугре, и ряд вагонов на повороте у впадины. Можно было видеть и разрывы снарядов. Один упал перед самым паровозом. Показался клубок черного дыма; поезд откатился назад, скрылся за бугор, и только черный дым, стелющийся по ветру, указывал на его быстрый отход.

Солнце поднялось над горизонтом. Скользящие, утренние лучи освещали широкую серую долину с искрящейся в солнечном сиянии водной поверхностью голубой речки.

Мы сделали тяжелый ночной переход, но несмотря на усталость, приходилось спешить все вперед, чтобы как можно дальше отойти от железной дороги.

Мы въехали в Кубанскую область. Селения и хутора, встречавшиеся нам на пути, резко отличались своими белыми хатами и ярко — красными черепичными крышами от донских селений с их досчатими сараями и строениями. Мы проезжали, не останавливаясь, одно селение и только в следующем небольшом поселке мы сделали привал.

Отыскивая, где бы остановиться и поесть, я зашел в белую маленькую хату на задворках среди огорода. Открыв дверь, я увидел старушку и с ней маленькую девочку. Больше никого не было в комнате. Жили-ли они вдвоем в маленькой хатке или другие ушли из дома, я не мог узнать. Старушка была глухая, а девочка оказалась такой запуганной при виде чужих людей, вошедших к ним с ружьями, что ничего не могла ответить. Старушка оказалась очень ласковой, сейчас же принесла намдобрых пишек и сладкие печенья.

Что думала она о нас? Добрые мы или злые люди, куда едем, зачем — она не знала, но накормив нас, дав нам выпить чаю, когда мы отъезжали от нее, она вышла на крыльцо и так же молча начала крестить нас своею костлявою, старческой рукою, и было что-то глубоко трогательное в этом крестном знамении, которым провожала проезжих людей эта старушка, оглохшая и молчаливая.

К соседней хате подъехал кзак на поромном коне, быстро соскочил с седла, вошел в избу и через короткий срок вышел оттуда уже с винтовкою за плечами.

За ним вышла жена с маленькими детьми провожать его в отъезд. Это был первый кубанец доброволец, которого я видел в нашей армии. Он простился с детьми, с женою, лихо вскочил в седло, потом еще раз протянул ей руку и поскакал на своем вороном коне.

Обоз наш тронулся дальше. Уже вторые сутки мы были в непрерывном пути, продрогли, на привале не успели отдохнуть, но нужно было спешить.

УІІІ.

ОБОЗ В ПОХОДЕ.

Обоз назывался почему-то у нас "главными силами", тогда как он являлся главной обузой для армии. Нужно было охранять его, ждать лишнее время на переездах у железных дорог и при переправах через реки, заботиться о его прикрытии, когда войска уходили вперед. Обоз являлся серьезным тормазом для боевых операций.

Не раз в обозе распространялись слухи, что генерал Корнилов хочет бросить нас и уйти с одними войсками. Но слухи эти, как и все обозные слухи, были неверны. Генерал Корнилов заботливо относился к раненым и ко всем тем безоружным людям, которые связали свою судьбу с армией.

Ни разу он не оставлял тяжело раненых в станицах, ни разу не допускал, чтобы обоз подвергся нападению большевиков; больше того, неудача под Екатеринодаром объяснялась тем, что не была двинута в бой с первых же дней бригада генерала Маркова, оставленная на том берегу Кубани для прикрытия обоза с ранеными.

Мы шли все вперед, отступать нам было некуда. У нас не было тыла, куда мы могли бы отойти. Мы были прикованы как бы к одной цепи, оторваться от которой было нельзя.

Мы не знали, что будет завтра. Кто мог поручиться за то, что нас не накроют бронепоезда при переходе через железную дорогу, что мы не наткнемся на такие силы большевиков, с которыми нельзя будет справиться.

Кто мог быть уверен, что никогда не дрогнет и не сдаст какой-нибудь десяток, два юнкеров, измученных, усталых в предшествующих боях, и большевики не прорвут нашу цепь. А достаточно было ослабеть одному звену, и все рухнуло бы.

Мы принуждены были вести раненых в весеннюю распутицу по непролазной грязи, трясти в повозках в гололедицу по камням замерзшей глины, оставлять дрогнуть от холода кое-как прикрытыми, а на стоянках в тесных и душных помещениях им не могли дать хотя бы временный покой.

Об каком-либо уходе не могло быть и речи, когда не хватало ни перевозочных средств, ни лекарств, а операции приходилось делать тут-же на столе, в пыли и грязи комнаты. Не раз лазарет попадал под обстрел, а на следующий день, если не с утра после ночевки приходилось двигаться вперед на те же муки.

Не говоря уже о физических страданиях, моральное состояние их было ужасно. Представьте себе, что должен переживать человек, который лежит с перебитой ногой и думает, что вот вот ворвутся большевики, схватят, а он не в силах двинуться.

Сознание своей беспомощности страшит всеми ужасами ночного кошмара. Каждый бережно хранил несколько пуль в револьвере, чтобы покончить с собой. Состояние это так мучительно, что люди умоляли, чтоб им дали отраву, и были случаи самоубийства...

А каждый мог быть завтра ранен и оказаться в таком положении. И веселый корнет, который любил шутить и так же беззаботен в походе, как на прогулке, — завтра окажется с раздробленной ногой в лазаретной тачанке.

Я помню — мне рассказывали. На остановке после нашего отхода от Екатеринодара двое раненых нагнали обоз: один, слепой, нес другого, с разбитой ногой /этот указывал ему путь/. Их забыли и бросили в Елизаветинской станице.

Кроме раненых с обозом ехали и шли пешком: охранная рота, служащие разведывательного отделения, люди, связанные тем или иным путем с алексеевской организацией, везли казну на подводах, серебряную монету и кредитные билеты из ростовского государственного банка, ехали и жены офицеров, и сестры милосердия, были и люди, неизвестно почему затесавшиеся в поход.

Кого, кого только нельзя было встретить в нашем кочующем лагере. Были и земские деятели, и члены Думы, и журналисты, и профессора и учителя гимназий — осколки разбитой русской общественности, а рядом певчий из архиерейского хора, вольский мещанин, случайно попавший на Дон, чухлый портной из Новочеркасска, отставной генерал, чиновник судебного ведомства, сибирский барон с женой, предводитель дворянства и неизвестного общественного положения подозрительный субъект.

Все были сброшены в один мешок. Все тянулись по одной дороге, сходились на стоянках, как-то добывали себе пищу, устраивались и вновь двигались в путь.

Вот генерал, служивший по гражданской службе. В Ростове я часто его видал в ресторанах в обществе дам: всегда с иголки одежды, с надутыми бакенбардами, в шегольском генеральском мундире и в лакированных сапогах.

Здесь я не узнал его. Куда девалось все его великолепие? Бакенбарды сбриты, торчала какая-то щетина на щеках, в грязном белье и в какой-то вязанной куртке, он производил впечатление сырого жалкого старика. Он вздыхал и кряхтел, досадуя на свою судьбу, во всем обвинял генерала Корнилова и только и говорил о том, как бы вырваться из западни, как называл он наш поход.

По его словам, можно было отлично устроиться, пробравшись в Кисловодск, где жизнь течет совершенно нормальным порядком. Когда он вспоминал о кисловодском курзале, у него появлялись даже слезы на глазах. И было жалко видеть его таким пришибленным судьбою после прежнего блестящего генеральского вида.

С Л.В.Половцевым когда-то мы были врагами по партиям в Государственной Думе. Теперь судьба свела нас на дороге в кубанской степи. В Новочеркасске он исполнял обязанности главного интенданта, т.е. ездил по лавкам закупать и за одно развозил на извозниках валенки, теплые чулки и башлыки для отправки их на вокзал для наших добровольцев.

В походе он состоял помощником генерала Эльснера, заведывающего снабжением. На стоянке мне как-то пришлось его застать сидящим на полу среди хомутов, кожаных обрезков и вожжей с большой иглой, молотком и гвоздями, занятого как настоящий шорник, починкой конской сбруи.

Кому когда-либо мог присниться такой странный сон: после Таврического дворца где-то в кубанской станице комната, превращенная в портную мастерскую, и член Государственной Думы, вбивающий гвозди в конские хомуты.

И что было сном, и что было действительностью? Белая зала Таврического дворца или шорная мастерская, заваленная конской сбруей?

Встретился я на походе как-то случайно с моим знакомым. Молодой, преуспевающий по службе товарищ прокурора, он вел в уездном городе жизнь провинциального чиновника, умеренную и аккуратную, позволяя себе во внеслужебное время удовольствия в любительских спектаклях, в игре в винт по маленькой, а летом в пикниках на лодке.

При нормальных условиях он продолжал бы свою служебную карьеру, поигрывал бы в клубе, ухаживал бы, быть может, женился и кончил прокурором суда в той обыденной обстановке, где от служебных обязанностей переходят к партии винта, к домашним ссорам с женой, к повседневным заботам о грошовой экономии в расходах.

И вдруг все это опрокинуто вверх дном. Он выбит из колеи установившихся привычек и правил, выброшен на улицу. Как, отчего — и сам не может понять.

Случайно занесло его в Ростов, случайно оказался он в походе, случайно встретил я его в драповом пальто и в городских ботинках, идущим в непролазной грязи по станичной улице. Все случайно. Случайных людей было не мало в нашем обозе.

Певчий тоже как-то попавший к нам, с бледным, испытанным лицом, любил распевать арии из опереток.

Он рассказывал, что его звали в Москву на сцену: какая-то проезжая знаменитость оценила его голос, но ему так и не удалось вырваться из провинции, и он, цирюльник по профессии, поступил в архиерейский хор.

Побывал он и партизаном в отряде Чернецова, ходил в набеги против красных, а теперь сделался возчиком в обозе.

Остзейский барон, хотя и штатский, но с военной выправкой, вытянутый, ушедший соблюдать чистоту и приличие даже в условиях нашей походной жизни.

С ним его жена с ярко-рыжими волосами, и странно было видеть ее в элегантной шубке, сидящей на клади в повозке, рядом с серыми, поношенными шинелями.

Были в обозе и такие офицеры, которые уклонялись от боя, но как только селение было взято, они первые бросались в него, чтобы захватить сахар, мануфактуру, спички.

Я помню одного на вороном коне, в черной черкеске с красным башлыком, который особенно отличался лихостью своих набегов на занятые уже селения. Первый он прискакивал к лавкам и всегда успевал что-то захватить.

Были и такие, которые сделали своей профессией поимку лошадей и продажу их офицерам. Были и просто воры, кравшие все, что можно было украсть: браунинг с подоконника, сахар, чай, забытый кошелек.

Обоз был тылом нашей армии. И в обозе проявлялось все то же стремление как-нибудь поживиться, получше устроиться, что-то захватить для себя.

Люди оставались людьми. Каждый заботился только о себе. Перестали стесняться, лишь бы получить что-либо для себя — лучшую квартиру на стоянке, хотя бы ее пришлось отбить от раненых, большой кусок мяса в суп, побольше сахару или табаку, хотя бы пришлось тайком стащить чужое.

Шли мелкие интриги, добивались назначений и составлялись заговоры. И были такие, которые, наблюдая все эти отрицательные стороны, впадали в настроения уныния и пессимизма, видели все в черном цвете и уже не понимали того героического, что совершалось на их глазах, засоренных пылью.

Видали ли вы степь в позднюю осень? Хлеба уже скошены и уезжены с полей. Нет ни зелени, ни желтизны жнивья. Все однообразно серо кругом, все пустынно. Ветер лишь гонит и крутит столбом пыль по степному пространству.

Видали ли вы в осеннюю пору, как катится по степи то быстро, то замедляясь, то взлетая кверху, то опускаясь, катится и останавливается и вновь понесется вперед какой-то засохший куст степного растения. Его называют "перекати поле".

Кто вырвал его от родной почвы? Каков его цветущий вид? Грустно видеть его одиноков скитанье. Оторванный от корня, несется он, куда ветер гонит, по живью, по степи, через бугор, по равнине, где застрянет, где вновь покатится вперед и вперед, все так же гонимый ветром. И куда занесет его?

Завалит ли в овраг, на дне которого он сгниет, или перебросит на тот берег и понесет все дальше и дальше. И нет ему пристанища, и нет ему покоя. Крутит и крутит его вихрь, треплет его ветри, гонит из стороны в сторону.

Не так-ли гонимый бурей катился по кубанской степи и наш обоз с его ранеными, больными, выбитыми из жизни людьми.

IX.

Путь, который избрал Корнилов, был нелегкий путь. Нам предстояло перейти через полотно железнодорожной линии Кавказская-Екатеринодар, находившейся в руках большевиков, переправляться через большие реки Кубань и Лабу и ряд мелких, идти все время с боями, обороняясь и в арьергарде, и передовыми частями от нападавших со всех сторон большевиков, а за Кубанью, вступив в Майкопский район, столкнуться с партизанской войной с засадами, с нападениями из камышей, из садов, из-за угла у околицы при выезде из селения.

И среди всех трудностей наша армия, которую можно назвать армией не по ее числу /в ней было всего три тысячи бойцов/, но по ее внутренней силе, сумела пробить себе путь и выполнить свою задачу.

И точно так же, как и ранее, целый ряд счастливых случайностей выручал нас от неминуемой гибели. Там большевики не взорвали большой мост через Кубань, у станицы Лабинской, и мы свободно перешли через глубокую реку со всем нашим обозом.

Взорвали они мост, и путь нам был бы прегражден. В другом месте удачные попадания наших орудий подбили бронепоезд, и мы захватили станцию железной дороги почти без потерь в наших рядах.

А там у большевиков не хватило смелости пойти на нас в наступление. Будь у них больше решимости, и какой-нибудь десяток, другой юнкеров был бы раздавлен численным превосходством.

Сколько раз они могли напасть на обоз с нашими ранеными и переколоть всех. Для охраны обоза у нас не хватало людей. И тем не менее они ни разу не отважились на решительное наступление... Чего-то у них не хватало, и напротив, что-то было в наших людях, что мешало противнику действовать решительно и покончить с нами одним ударом.

В их руках были железнодорожные линии, по которым они всегда могли подвезти войска и сосредоточить у станций подавляющие силы. У них были в изобилии орудия, снаряды и патроны. У нас было всего 8 орудий, а снаряды и патроны мы пополняли у большевиков.

Мы вступили в местность, населенную иногородними, враждебно к нам настроенными. И все-таки мы победили, и победили потому, что наши люди не знали, что такое страх перед большевиками, а напротив большевики боялись нас.

Вот это нечто, что заключается в самом человеке и приводит к тому, что десяток людей стоит целого батальона, и один полк разбивает дивизию. Так бывает во всякой войне и казалось особенно наглядно в кубанском походе.

Нет выхода, а выход находился всегда случайно, никем непредусмотренный, как-то сам собой. И странное дело, уверенность в том, что мы выйдем из всякого положения, проникла не только в каждого рядового наших боевых частей, но и в тылу, в обозе была та же уверенность.

Мне приходилось видеть во время большой войны ужас панических настроений, охватывавших тыловые части. Люди-раненные, коннойные, повозки, животные-лошади, быки - все охватывались одним чувством безотчетного страха. И все бежали, мчались в повозках, сталкивались, опрокидывались и давили друг друга.

Таких панических настроений я ни разу не видел в кубанском походе. Обоз не раз попадал под обстрел, рвались и падали снаряды между повозками, а обоз спокойно выдерживал в течение многих часов от утра до вечера перекрестный огонь неприятельской артиллерии. А в обозе были раненные, женщины, старики, безоружные.

И просто невероятным кажется, откуда могли явиться такие силы у людей, чтобы преодолеть и усталость, доходящую до изнеможения, и выдерживать нервную напряженность непрерывных боев и тревоги.

Майкопский отряд резко отличался от тех мест, по которым мы шли до сих пор. Кубанские станицы, по которым мы проходили, не были враждебно к нам настроены, так же, как и донские.

Правда, к нам мало присоединялось казаков; они держались в стороне, но ни в одной станице казаки открыто не переходили к большевикам и не сражались против нас.

Здесь же, за Кубанью, мы столкнулись с явно враждебным к нам отношением населения. Объясняется это тем, что Майкопский отряд выделяется в Кубанской области смешанным составом своего населения.

Здесь идет ряд станиц линейных казаков, поселенных в 60-х годах вдоль линии боевых действий с черкесами. Казаки были набраны отчасти из донцов, отчасти из солдат коренных русских губерний, почтоку и самим станицам носят названия-Рязанская, Тульская, Калужская.

Казаки эти великороссы, в отличие от коренных кубанцев Черноморья, потанков запорожцев, переселенных при Императрице Екатерине II. Рядом с ними остались аулы, населенные черкесами.

По всей местности густо разбросаны хутора пришлого населения, многогородники. Поселения эти возникли в самые последние десятилетия или на арендованных казачьих землях, или на землях, пожалованных генералам за отличия при завоевании Кавказа.

Положение многогородников далеко не было бедственным. Они богатели едва-ли не больше казаков. Среди них выработался особый тип предприимчивого, смелого колонизатора.

Трудом их рук целинные земли северного Кавказа забороздились тяжелым плугом, зажелтели полями пшеницы и кукурузы, а гурты овец тавричан /как называют оцеводов - выходцев из Таврии/ заполнили пустынные, степные пространства.

Между пришлыми и казаками была давняя неприязнь, так же как был антагонизм между линейными казаками и черноморцами. Революция вскрыла этот антагонизм и превратила его в ненависть, не в ненависти бедных против богатых, а в слепую ненависть между людьми, потерявшими сдерживающую их власть.

Отсюда ненависти между казаками и неказаками, между русскими и черкесами, между линейцами и кубанцами, между горожанами и жителями деревни.

"Н о о б о м і а і і с р и а е а t".

Люди продавали и покупали, общались, дружились и ссорились, но жили в мире между собой. Революция нарушила все соседские отношения и посеяла семена непримиримых ненавистей, внесла войну в мирный уклад жизни. В дикой ярости люди набросились друг на друга, грабили, жгли, убивали. Где тут можно вскрыть классовую борьбу? Где здесь, в глухих горах, социальная революция?

За что вырезали целые черкесские аулы, издевались над слабыми, истребляли мирных и тихих кочующих калмыков? При чем тут идеи пролетариата и мировой революции?

Найкоп был центром большевизма на Кубани. Отсюда по окрестным станицам и хуторам раз"езжали агитаторы и мучили население. Во многих станицах образовались революционные комитеты, формировались вооруженные отряды из беглых солдат.

При нашем приближении жители из многих селений убегали, прятались в лесах и оврагах. В одной из станиц перед нашим приходом сбежал даже приходской священник со всей семьей.

При входе в хату оставшиеся женщины и дети напуганные прятались в углы. Приласкаешь ребенка, дашь ему сласти и видишь, как он начинает сначала робко, а потом уже и совсем доверчиво глядеть вам в глаза.

Женщины, видя, что мы за все платим, не делаем грубостей, переставали дичиться и рассказывали, что про нас им наговорили.

"Мы думали, черти к нам идут" - говорила мне одна хозяйка. "А вы ничего, такие же люди".

Когда проездом через какой-нибудь хутор забежишь в хату и попросишь хлеба, всегда один и тот же ответ - "нет". Всюду встречаешь у хозяев угрюмые лица, взгляд с каким-то злобным выражением лица, и чувствуешь, что он таит что-то недоброе. По ночам остерегаешься уснуть, прислушиваешься к каждому шороху, наган наготове.

И тяжело было ощущать эту враждебность к себе в каждом прохожем, в женщине и в детях. Не раз при выезде из селения по обозу открывался огонь из садов и огородов. По дороге мы наткнулись на скрытую засаду. Я помню, как рано утром мы выезжали из станицы. То тут, то там раздавались ружейные выстрелы.

По въезде на околицу по обозу открылась артиллерийская стрельба. Один снаряд упал где-то в стороне, потом показался совсем вблизи еще столб черной пыли, а там еще и еще /их называли у нас черными дьяволами/. Лошади подхватили и повозки понеслись по пашне. Совсем рядом с нами началась двуколка на высоких колесах, сильный вороной конь вез ее по мягкой пахоти во всю прыть. В повозке сидели трое, один правил. Трах! Оглушительный треск. Нас обдало пылью и грязью.

Вороной конь упал со всего маха на землю, и трое людей, выброшенные из двуколки со сломанными оглоблями, навалились друг на друга в одну кучу.

Наши лошади продолжали скакать, опять столб черной пыли: снаряд упал рядом с нами, но не разорвался. Ряд повозок, все празыпную, мчались по пашне, и среди них то и дело подымались высокие столбы черные дьяволы.

Уже совсем недалеко от нас, видимо, из наших орудий раздаются один за другим выстрелы, и все затихает. Наше прикрытие отогнало неприятеля.

Изю дня в день повторялась одна и та же картина. Впереди нас, а иногда и в арьергарде начиналась стрельба ружейная и пулеметная и редкая орудийная.

Наши передовые цепи большей частью офицерского полка уходили далеко вперед. Нам приходилось стоять и ждать, когда селение будет очищено от противника или переправа будет занята, или выбиты большевики из леса на нашем пути. Иногда по долгу приходилось стоять в степи.

В обозе часто распространялись тревожные слухи: кто-то говорил, что не удалось выбить противника с другого берега, другой рассказывал, что на Богаевского наседадут большие силы, и он не в силах их сдержать, или что корниловцы нарвались на засаду и понесли большие потери.

Прислушиваясь к звукам стрельбы и по их напряженности или затиханию стараясь угадать ход боя. Как будто пулеметы усиленно застучали: значит, они наступают; замолкнет стук-судись по этому, что наши отбили наступление.

К вечеру огонь затихал, приходил приказ обозу выступать; внезапно вперед квартиры, и повозки одна за одной трогались по направлению к занятому селению.

Так было каждый день, и мы свыклись с мыслью, что иначе и не может быть: наши всегда одолеют.

Вечером, расположившись в станице, мы узнавали в штабе или от раненых о ходе дела. Возвращавшиеся из боя знакомые офицеры рассказывали про те или другие случаи боевых действий.

Шинкер рассказывал, как они захватили переправу. Весь день противник, занимавший противоположный берег, пулеметным огнем мешал перейти реку. И лишь, когда стемнело, пять человек юнкеров переправились в брод. Он рассказывал, как полком пробравшись через кусты, они внезапно набросились на большевиков, перекололи людей, тут-же повернули пулемет и, открыв по ним огонь, обратили в бегство большевиков, охранявших переправу у моста.

Иные приходили усталые, раздраженные. Кто-то досадовал на нераспорядительность своего командира, который напрасно повел их в лесок, где оказалась скрытая неприятельская засада. "Сколько я неговаривал его обстрелять сперва лесок из пулемета, он таки не послушался. Вот мы и потеряли одного убитым и четырех ранеными".

Кавалеристы, для которых служба была особенно тяжела, часто раздраженно говорили, что лошади у них искалечены, спины набиты от седел, остаются неразседланными по несколько суток. "Переколют все, тогда и останемся пешими".

"Ну, и народ" — жаловался капитан. "Приходишь усталый, голодный, целый день ничего не ел. А никто куска хлеба не дает: "нема и нема". И зададим мы им за это "нема", придет время" — раздраженно говорил он, — "а начальство за каждую курицу угрожает судом. Нельзя клок сена вырвать из стога, бабы вопят благим матом, с вилами лезут. От командира нагоняй".

"А я вот что вам скажу: из брошенных домов взяли теплые одеяла. Скажут — грабеж. А если бы не взяли, то всех раненых переморозили бы на переходе ночью. Вот и рассудите сами".

"Это самое и я всегда говорю" — подхватил Ив. Ал. — "гушанность в нашем положении ни к чему. Как большевики поступают? Нужно брать — и берут, и попробуй кто-нибудь пикнуть. А у нас нельзя, все незаконно. Золото увезти из Ростова нельзя, незаконно. Вот и оставляют большевикам. Отобрать подводы тоже незаконно. Вот люди и мучаются по грязи пешком. А посадить всех на подводы, и все бы иначе было. Нет, нельзя" — и Иван Александрович разговорился на свою обычную тему.

Жаловались, а все-таки шли вперед, а после какой-либо удачи слышались совсем другие речи. И усталость, и голод, и подбитые спины у лошадей, и тяжесть похода — все забывалось, как рукой сняло. И снова бодрость, и веселое расположение духа, и песни. Да они с песнями входили в занятые с боя станицы.

Х.

За выступлением обоза из селения нужно было внимательно следить, так как вас не успевали уведомлять о времени выступления. С раннего утра, когда еще совсем темно, то и дело выбегаешь на крыльцо и прислушиваешься, не слышно ли лай собак, всегда сопровождавшего выход из селенья нашего поезда. Опоздать было нельзя: это значило бы остаться одним в оставленном селении и быть захваченным большевиками.

Побежишь справляться в соседние хаты, где размещены раненые, не собираются ли они. Нет, там все спокойно, все спят, лошади стоят разнузданные, привязанные к телегам. Возвращаешься назад, приляжешь, а все не спится. Какой-то шум во дворе, выходишь на крыльцо. Ночная темь начинает расходиться, небо светлеет, в темноте двора наши соседи уже возятся около лошадей, запрягают.

Скорей, уже начали выезжать на околицу. Слышишь лай собак и стук колес. Нужно спешить не опоздать выехать к ветряной мельнице, к назначенному сборному пункту. Будишь своих. Все вскакивают, старик хозяин суется, помогая запрягать лошадей; полковник Новосильцев надевает тулуп, натягивает рукавицы, берет возжи и усаживается на передке. Мы садимся каждый на свое место.

Наш серый высокий конь, хотя и с подбитыми ногами, но крепкий в паре в дышло с вороным, низким и плотным, а не пристяжке киргизенок, который бил ногами всякий раз при выезде из ворот, тронули нашу повозку, и мы среди навозной жижи двора выезжаем на улицу.

Кое-где в хатах горят огни, видны выезжающие подводы из ворот, за плетнями во дворах люди, запрягающие лошадей, раненых укладывают в телеги. Вот мы выезжаем на выгон воле большой ветряной мельницы. Темное огромное здание с деревянными крыльями ясно выделяется на светлом фоне утреннего неба.

Повозки выравниваются одна за одной. Тут-же стоит в ряды построенный полк, в темноте можно различить едва отдельных людей в шинелях, лишь ружья выделяются штыками на свете зари.

Вот виднеется проезжающая группа конных. Всадник с древком в руке, на котором развевается знамя, ясно выделяющееся в окружающей темноте. Ружья сразу заколыхались; отряд двинулся в путь.

Мы едем по пересеченной местности утром по замерзшему грунту, который к полдню растаивает и образует липкую глинистую грязь. Мы слезаем с повозок и идем пешком, выбирая места по окраине дороги, где глина не так вязко вцепляется в сапоги.

Стороною проезжает по более твердому грунту небольшая линейка, запряженная одной лошадью. В ней Н.П.Щепкина везет раненого полковника Хованского. Она сама правит в черной кофте и в городской шляпе.

На белом коне едет знакомый кавалерийский офицер. Его конь крупный, с загнутой массивной шеей, грызя удилами, крепкими ногами наступает на землю, порываясь перейти на рысь, но, сдержанный всадником, он вскидывает головой, трясет гривой, раздраженно рвется вперед.

Вот Б.Суворин в странном одеянии: в элегантных желтых крагах, в дорожной фуражке английского туриста и в какой-то бабьей кацавейке, из под которой выступают полы его костюма.

С короткой трубкой в зубах, с карабином на плече, он, видимо, нисколько не тяготился трудностями похода и не смущался видом своего костюма, склонный всегда весело шутить, подтрунивая сам над собой.

Вот Шеншин, предводитель дворянства, в смушковой шапке, в высоких охотничьих сапогах, в куртке с меховым воротником, с торчащим из кармана большим наганом.

"La cocarde du roi" - говорит он весело, указывая на свою белую повязку на шапке. Бедный Шеншин, думал ли он о смерти в то время, как, шагая по грязной дороге, радовался своей белой повязке. Через несколько дней его не стало. Он умер от заражения крови в одном из горных аулов.

Вот тихую поступью идет сестра, молоденькая гимназистка из Таганрога. Раненые звали ее тетей Наденькой, и нельзя было иначе назвать эту скромную девушку с ее печальными, кроткими глазами.

Я видел ее после с широким шрамом на лбу от сабельного удара. Где она теперь, эта тетя Наденька?

Вот две сестры Татьяна и Вера Энгельгардт — в кожаных куртках и в высоких мужских сапогах. Весь поход они сделали пешком.

В Новочеркасске в зале гостиницы я видел их хотя и просто, но всегда изящно одетыми, за столом в обществе наших офицеров. Воспитанность сказывается и в уменьи себя держать, и в их обращении, и в их речи.

Теперь в больших сапогах, в засученных юбках среди пестрой толпы, шедшей с нами, они оказались также на своем месте. А были они институтками, воспитанницами Смольного.

Я мало их знал в то время. Только после я узнал, кто такая Вера Энгельгардт. Все время она не расставалась с армией, мужественно выносила невзгоды в походе, в боях, в отступлении. Никогда я не видел ее упавшей духом. Она искала и шла спокойно на подвиг. Ни малейшей экзальтации, просто и естественно.

Она как будто не умела радоваться, но никогда и тени унынья и упадочных настроений. Так должно, а должно она выполняла без колебаний. Она осталась при своем раненом брате на Кубани при десанте во время крымского периода нашей борьбы, была захвачена большевиками и погибла. Она была вся белая во всей своей простоте и в высоком своем духовном под"еме.

Когда я думаю о русских женщинах белого движения, передо мною встает образ Веры Энгельгардт, этой девушки — героини, замученной большевиками.

И сколько их, этих русских женщин, прошло мимо нас незамеченными. И только раненый, больной, умирающий знает, с какой душевной теплотой и участием относились они к тем, кто страдал.

Сколько раз мне приходилось видеть в степи генерала Алексеева. То он шел в сопровождении ротмистра Шапрона, своего ад"ютанта, то один, опираясь на палку. Я вглядывался в знакомое мне лицо, всегда такое спокойное, и здесь то же спокойствие в выражении его лица, в его голосе, когда он говорил, в его походке.

Он шел стороною, вдали от других. Он не мог командовать армией, не мог нести на себе тяжелое бремя боевых распоряжений на поле сражения. Физические, уже слабеющие силы, не позволяли ему сидеть верхом. Он ехал в коляске в обозе. Как будто он был лишний в походе.

Корнилов относился к нему недружелюбно. Штабные офицеры постоянно подчеркивали, что Алексеев не должен вмешиваться в военные дела, и во время похода не раз заставляли его переживать тяжелые минуты, как будто он своим присутствием только мешал им и лучше сделал бы, если бы остался в Новочеркасске.

А между тем, попробуйте вычеркнуть генерала Алексеева из кубанского похода, и исчезнет все значение его. Это уже будет не кубанский поход.

Одним своим присутствием среди нас этот больной старик, как бы уже отошедший от жизни, придавал всему тот глубокий нравственный смысл, в котором и заключается вся ценность того, что совершается людьми.

Корнилов один во главе армии—это уже не то. Это отважный, отчаянный подвиг, но это не кубанский поход.

Судьба послала нам в лице Алексеева самый возвышенный образ русского военного и русского человека. Не кипение крови, не честолюбие руководило им, а нравственный долг. Он все отдал. Последние дни своей жизни он шел вместе с нами и освещал наш путь.

Он понимал, когда, уходя из Ростова, он сказал: "Нужно зажечь светоч, чтобы была хотя одна светлая точка среди охватившей Россию тьмы".

Никогда в самые тяжелые минуты, когда одинокий, как-бы выброшенный из жизни, он шел в кубанской степи, — он не терял веры.

Я помню. Обоз спускался медленно по покатости холма на мост через речку. Алексеев стоял на откосе и глядел на далекую равнину, расстилавшуюся на том берегу. О чем он думал? О том, чем была когда-то русская армия и чем она стала в виде этих нескольких сот повозок, спускавшихся к переправе? О том ли, что нас ждет впереди в туманной дали?

Я подошел к нему. На душе было тяжело. Наше положение и неизвестность удручали. Он угадал то, о чем я думал, и ответил мне на мои мысли: "Господь не оставит нас Своею милостью". Для Алексеева в этом было все. В молитве находил он укрепление для своих слабых сил.

Те три тысячи, которые он вел, это была армия составом меньше пехотного полка, но это была русская армия, невидимо хранимая Провиденьем для своего высшего предназначения.

.....

Длинный поезд наших повозок далеко растянулся по дороге. Уныло было кругом. Серые, мертвые поля, обнаженные от снега, мертвые, темные кусты и деревья. Тусклое, серое небо.

Вдали виднеются строения какого-то селения. Клубы темного дыма поднимались к облакам, низко ползущим над землею. Когда мы подехали, мы увидели, что селение горит. Это были Саратовские хутора. Нам сказали, что оттуда все бежали, и из ближайшего болота по обозу открылась стрельба.

Мы остановились. Видно было, как горели дова, скирды сена, кучи соломы. Пламя огня злобное прорывалось среди густого, то серого, то черного дыма, вспыхивало красными языками и исчезало в дыму.

Вдоль дороги тянулись густые заросли высокого засохшего камыша. Из этих зарослей показался казак верхом; он гнал поред собою впереди какого-то мужика. Мужик останавливался, оборачивался, и что-то говорил, разводя руками. Казак скинул винтовку со спины, прицелился, не слезая с седла; раздался выстрел, лошадь шарахнулась, мужик повалился на землю.

И сразу нельзя было понять, что произошло. Как убил? Мужик лежал неподвижно. Казак отъехал. В камышах была скрыта засада, стреляли по нашему обозу. Казаки верхами обехали болото, поймали прятавшихся там большевиков. Несколько человек было пристрелено.

Я слез с повозки и пошел к селению. На улице было пусто. Ветер гнал клубы дыма, низко над землею, вспыхивала ярким огнем солома во дворах, искры сыпались из горящих строений. Испуганные овцы гурьбой метались из одного конца в другой. И среди треска и шума пожара слышно было где-то жалобное мычанье забытого теленка.

Я свернул в переулочек. Здесь в грязи лежал труп убитого человека. Он был в солдатской серой папахе, с босыми ногами, обернутыми тряпками. Две огромные свиньи уткнулись в труп. Было отвратительно. Я увидел их морды, обрызганные кровью.

Я отвернулся и пошел в сторону по огородам. Никого не было видно. Было пустынно. Но вдруг, я почти подошел вплотную, я увидел старуху возле избышки, совсем вросшей в землю. Она сидела у открытой двери на пороге, двумя локтями опираясь на колени согнутых ног. Грозное выражение ее лица поразило меня. Волосы были непокрыты.

Худая, с костлявыми босыми ногами, она сидела неподвижно, неподвижно глядели ее черные глаза. И было грустно чувствовать на себе ее остановившийся взор. Она молчала, сжав строгие губы.

Я невольно отошел назад. "Зачем царя согнали?", послышался вдруг какой-то странный голос, точно она говорила про себя, обращаясь к кому-то. "Зачем царя согнали?" — повторила она, поднимая голову и прямо глядя на меня.

Было что-то зловещее в этом пожаре, в дыме и пламени горящего селения, в этом трупе убитого человека, которого раздирали свиньи, было что-то роковое в этой безумной-одной, брошенной среди пожара у двери своей избышки. Вскоре я заболел горячкой, и в бреду меня постоянно мучил образ этой старухи.

Я даже не помню, выходил-ли я действительно на пожар Саратовского хутора или кто-либо рассказывал про старуху и ее слова, но только вся картина пожара, этот труп, эти свиньи с окровавленной пастью и эта роковая встреча в бреду-ли или на самом деле, врезалась в мою память до мельчайших подробностей.

Она являлась передо мной то старой калмычкой с трубкою во рту, угрюмой, бормотавшей про себя, то молодой женщиной, но я всегда узнавал ее. Это была все та же старуха у дверей избышки среди пожара Саратовского хутора.

Ко всем трудностям похода присоединялась еще и болезнь. Днем я себя чувствовал бодро. Была слабость, была боль в боку, но я мог ходить; жара не было. К вечеру начинался озноб, потом бред, и я терял сознание.

И вот тут в бреду мучительно звучали ее слова: "Зачем царя согнали?"

XI.

ВЫХОД ИЗ ОКРУЖЕНИЯ. БОЙ ПОД ФИЛИППОВСКОЙ.

Мы долго стояли на высоком нагорном берегу. Внизу быстро катились мутные воды, вздувшаяся от половодья речка. У моста скопились повозки и медленно одна за одной перебрались по досчатому мостовому настилу на ту сторону.

Узенький мост на высоких жердях покачивался при проезде груженых подвод, и на него по очереди пропускали по одной подводе. То с одного, то с другого бока, перелетая через мост, падали снаряды, всплескивая столбом брызг мутную воду речки.

А нам все приходилось ждать. На той стороне открывалась широкая низина. Виднелись группы деревьев и зарослей ивняка у берега, почерневшие стога сена, раскиданные темными пятнами по серой поверхности луговой низины. А там подымались возвышенности, занятые, как мы знали, большевиками.

Наконец, мы тронулись, спустились с косогора и вслед за перебравшейся повозкой вехали на скрипящий идвигающийся под нами мост. Снаряды все продолжали падать в воду, в болото на том берегу, куда-то в сторону, и ни один из них не попал на жиденький мостик, по которому медленно перебирался длинный поезд нашего обоза.

У перил моста на той стороне стоял Корнилов. Он следил за переправой, и на его глазах никто не смел нарушить порядок.

Уже рысью помчались мы по луговине между кустов, болотных ям и торчащих вокруг густых, высоких камышей. Мы остановились у стога сена рядом с другими, уже стоявшими там подводами. Снаряды не падали в нашу сторону. Мы видели лишь их разрывы в небе белыми облачками.

День был солнечный. По прозрачно-голубому небу плыли белые, густые облака. Я лежал в повозке, прикрытый одеялом, и глядел надвигающиеся облака, на белые комочки разрывов, на верхушку стога, на который взобрался какой-то человек, на подводи, стоявшие вблизи, между которыми виднелся поднятый кузов коляски, я смотрел с тем безучастием, с которым смотрят на все заблуждающиеся.

Все время отчетливо слышны орудийные выстрелы не переставали греметь. Мы стояли уже час, другой на одном месте. Мне не спалось. Я разглядел каждую повозку, стоявшую по близости, разнузданных лошадей, уныло жевавших сено, подбросанное охапками на землю, раненых, сидевших и лежавших в подводах в том ряду, на противоположной от нас стороне.

По тропалине между рядами подвод прохаживался то тот, то другой знаковый. Пройдет Новосильцев в полдевке, суетливо пробежит кто-то, снlessly пропли юнкера с ружьями, за ними, догоняя, пробежали еще двое отставших. Я узнал среди них молоденького князя Туркестанова с его бледным, красивым лицом. Пропла полная, пожилая женщина в черной косинке с большой корзиной, наполненной кусками хлеба, и подходя к подводам, стала раздавать ржаным, каждому по ломтю.

Пролетел со свистом снаряд и ударился в болото, брызги взлетели высоко кверху. За ним другой, третий. Усталый юнкер в шинели с винтовкой в руках подошел, прося присесть в повозку, и тут же усевшись, сразу захрапел, сидя со спущенными ногами.

Напротив нас стоял широкий фургон с парой лошадей в городской упряжке. Поверх сундука сидела баронесса в своей котиковой шубке. Ее рыжеватые волосы выбились, плохо причесанные, из-под барашковой шапочки. Усталая, она согнулась на сундуке, прикладывая то и дело к глазам носовой платок; рука как-то беспомощно упала на колено.

Барон, стоя у фургона, что-то говорил, видимо, утешая жену. Снаряды уже совсем низко неслись над обозом, слышался скользящий в воздухе свист, раздавался резкий звук разрыва. Юнкер продолжал храпеть, согнувшись и опустив голову. Раздался резкий удар.

Я вдрогнул и приподнялся. В той стороне, где виднелся поднятый кузов коляски между повозок, какое-то движение. Пробежала сестра, еще кто-то. Сказали, что убит кучер ген. Алексеева. Снаряды уже с другой, противоположной стороны, из-за реки, стали пролетать над нами. Слышен протяжный, раздражающий свист.

Обоз не трогался с места. Все так же понуро стояли лошади. Раненый, сидя в повозке со спущенными ногами напротив меня, закусывал крутым яйцом и ломтем хлеба. И глядя, как он очищает яйцо, посыпает его солью и спокойно жует хлеб, и сам как-то спокойно ко всему относился. Баронесса сдержанно всхлипывала.

Между рядами подвод взад и вперед ходил Новосильцев. Я следил за его ходьбой. На ходу он то опускал, то подымал голову. И странная вещь: я, лежа в повозке, совершенно машинально стал делать то же движение головой. Резкий удар заставил меня приподняться. Спавший юнкер встрепенулся и растерянно глядел по сторонам.

Сзади нас, в противоположном конце, билась ногами на земле лошадь. Двое людей под руки подымали бородатого возчика. Слышны были стоны. Мимо нас проехавшие пронесли раненого на скрещенных руках. Старый возчик цеплялся за их шеи и стонал.

И опять все так же юнкер храпел, уткнувшись в повозку. Новосильцев продолжал ходить на прогалине между рядами обоза, и слышны были всхлипывания баронессы. Спешно прошла мимо нас группа людей с винтовками. Это уже не были юнкера, а была вызванная из обоза тыловая команда.

В самом разнообразном одеянии, кто в штатском, кто в военном — все, кто был способен носить оружие. Последний резерв. А обоз все продолжал стоять на месте. День уже клонился к вечеру. Косые лучи солнца уже падали не прямо на нас, а с правой стороны. Тень от стога сена прикрывала стоявшие возле повозки.

И вдруг мы услышали крики — ура, доносившиеся издалека, все ближе и ближе среди нашего обоза. Сказали, что приехал посланный от генерала Эрделли. Ура, ура — кричали люди, и все поле, где стоял обоз, огласилось громкими криками. Большевики слышали, и эти крики должны были смутить их.

Орудийная стрельба как-будто затихла, или это так показалось среди радостного возбуждения, охватившего нас.

Передавали друг другу, что генерал Эрделли с десятью тысячами в одном переходе от нас, и снова крики ура подымались в обозе. Кричали раненые, кричали больные, сестры, кричали позчики. И тут — пришло известие, что наши части отогнали большевиков и путь очищен.

Обоз тронулся. Мы проехали не более пятисот шагов, как увидели строения какого-то хутора. Офицеры стояли, прятась за стеной хаты, один — на крыше, у трубы. Треск пулемета безостановочно зачастил совсем вблизи от нас. Обоз простоял весь день в пятистах шагах от расположения наших цепей.

Повозки мчались во всю прыть, свернули влево, в ложину между двумя холмами. Снаряды учащенно посыпались, но все в стороне вправо от дороги, а крики ура, то замолкавшие, то вновь громкие оглашали скачущий поезд обоза.

.....

В ЧЕРКЕССКИХ АУЛАХ.

Печально и уныло в горах. Туман висит в воздухе и мелкими каплями моросит дождь. Холодная сырость ощущается всем телом. Нельзя укрыться от нее. Она проникает за воротник, в рукава, под одеяло.

Печальный вид окрестностей. Солнце не блещет на зелени луга, и весенняя трава кажется тусклой и темной, не радующей взора. Низкий, корявый дубняк с его оголенными сучьями, уродливый, как карлик калека, стоит по сторонам, то в одиночку, то редким лесом.

Когда-то здесь были дремучие леса, в трущобах скрывалась черкесская засада, и горе казачьему раз'езду, неосторожно углубившемуся в чащу. Теперь все вырублено, и карлик дубняк заменил дубы великаны.

Унылы горские аулы. Темные досчатые сакли, такая же темная, досчатая мечеть с ее башней — минаретом. Дождем политые стены кажутся черными от сырости, чернеют стволы и сучья деревьев, кусты, плетни и досчатые заборы. Все тускло и серо кругом.

Не видно стада на лугу. Одинокие бродят мелкие и чахлые коровы и такие же мелкие, понурые лошади. И люди такие же невзрачные. Вместо крупного, дородного кубанского казака — черкес горец, худой, остролицый, не в нарядной черкесске, а в каких-то лохмотьях, без кинжала у ремня.

Когда-то эти аулы долго и упорно боролись с русскими. Позднее всего было эмигрировано маленькое, воинственное племя черкесов. Лишь в шестидесятих годах, когда уже Дагестан был покорен, и Шамиль доживал свои дни в Калуге, солдаты и казаки проникли в горские аулы.

С тех пор черкес перестал быть страшен для окрестных станиц. Он жил в бедности, занимался скотоводством, покупая хлеб, и уходил в отхожие промыслы по хуторам и станицам. Его можно было встретить в отдаленных русских губерниях в качестве лудильщика самопаров и бродячего кузнеца.

"Черке-еэ называется" - говорил он своим гортанным говором, объясняя русским, кто он такой. И вот это-то нищее, мирное население подверглось всем ужасам революционных насилий. "Мир хижинам, война дворцам", как это звучит правдиво.

Аул Несшукай был весь опустошен и разграблен большевиками. Вся молодежь, более двухсот человек, схвачена и расстреляна. Скот угнан. Старики, женщины, дети бежали в горы. Когда мы проходили через аул Несшукай, это было мертвое кладбище; бродили одни лишь голодные собаки. Ни души нигде. Пустые, заброшенные сакли.

Те же зверства в аулах Панажукае и Шенджи. Везде, где мы останавливались, мы слышали о грабежах, о насилиях над женщинами, истязаниях и убийствах.

Офицер штаба показывал мне забытую записную книжку какой-то большевицкой сестры, бывшей с красными в этих аулах.

В каждой строчке сквозил ужас отчаяния от соприкосновения с реальностью революции. Видимо, в ней сохранились еще человеческие чувства. Дрожащею рукой записала она, как ей самой пришлось с револьвером в руках отбивать черкешенок, на которых набросились озверевшие солдаты. Записная книжка эта была брошена при уходе из аула и попала к нам в руки.

Аулы были сплошь разграблены. Куска хлеба нельзя было достать. Голодные раненые бродили, заходя в дома просить у знакомых, нельзя ли чего поесть. А у нас у самих ничего не было. Принесут какой-нибудь жидкий суп, и каждый так и глядит на маленький кусочек говядины, плавающий поверх. Тянули жребий, кому достанется. Сахар раскалывали на четыре части и делили между собой. В аулах мы испытывали настоящий голод.

В Панажукае, где у нас была дневка, я уже совсем захворал. Я лежал в комнате с крошечными оконцами, на глиняном полу, подостлав полушубок и укрывшись буркой. Мои спутники куда-то разошлись. Я не слышал их голосов за дверью. Наступали сумерки. Стало еще тусклее, чем днем. Чувство одиночества угнетало меня. Я старался заснуть и не мог. В голове стучало и чувствовалась боль в висках.

Мысли мелькали бессвязно, искрами вспыхивали и исчезали. Закроешь глаза и видишь, как в кинематографе, при быстро вертящейся ленте. И больно от этих мелькающих картин. А оторваться, остановить нельзя. Иногда что-то увидишь ясно. Мост, доски трясутся. Лошадь оступилась и бьет ногами. Жидкая решетка ее не удержит.

Вот, вот мы опрокинемся в реку. И страшно сорваться и упасть. Видишь кузов коляски недалеко от стога сена. Снарядом убило кучера. И вдруг вспоминается баронесса с ее рыжими волосами. Как это глупо. К чему в кубанском походе какая-то баронесса? В жизни всегда так... бессмыслица... Животы спасаем - припоминаются слова Кислякова... Все пропало.

И среди этой путаницы мелькающих мыслей и картин вдруг видишь дым, пожар; отчетливо видишь красные языки пламени. Труп убитого, того малого с обезображенной головой, непохожей на человеческую. Свинья грызет его, как она грызет всякую падаль.

И ничего в этом нет ужасного. Это не труп большевика. Вот седенькая бородка... убитый полковник... он двигает руками, он еще жив. Свинья подняла морду. И морда эта вдруг растет и растет, становится огромной. Кровь капает. Видишь маленькие, прищуренные глазки. Она насмешливо глядит своими глазками, точно смеется, оскалил зубы. И клубы дыма и дыма застилают все...

Но вот подошла она. Я еще не видел ее, но чувствовал, что это она. Она села в углу в той же позе, как я ее видел у избушки. Это была старая калмычка, вся сморщенная, с трубкой во рту, но это была не кто другой, как она. Губы ее, не выпуская трубки, бормотали какие-то бессвязные слова, но я понимал их смысл.

Она была ко всему безучастна, угрюма и глухо бормотала, как-бы про себя, все те же слова. Слова эти не были обращены ко мне, но я чувствовал боль от ее укоров, острую боль в висках.

- "З а ч е м ц а р я с о г н а л и".

Она поднялась. Лицо ее вытянулось, длинная костлявая рука протянулась ко мне. Я чувствовал, как она прикасается к моему лбу, чувствовал боль от этого прикосновения.

И нельзя никуда уйти. Красный свет режет глаза тут совсем близко. Лицо старухи склоняется надо мной. Я вижу ее глаза, но глаза эти какие-то другие: не те страшные черные глаза с неподвижным взором. Нет, это глаза другие и рука, прикасающаяся ко лбу, другая; я чувствую мягкое прикосновение пальцев.

- "Вы плохо себя чувствуете" - говорит знакомый женский голос, и от звука этого тихого голоса я прихожу в себя. Свет горячей свечи, столшей рядом на полу, ослепляет меня. Я шурюсь, стараюсь приподняться.

- "Нет, нет, лежите" - говорит сестра Энгельгардт. Как радостно было мне ее увидеть.

XII.

С утра моросил холодный дождь. Туман то густой, облачной пеленой, то прозрачной дымкой обволакивал всю окрестность. Сквозь туман проглядывали темные очертания кривых, изогнутых стволов и сучьев дубняка, темнелся косягор, торчащие на нем кусты, тут и там стога сена.

Солнце без лучей, плоское и круглое, краснелось низко над землей. На него можно было прямо глядеть глазами. Лишь ближайшие повозки были видны, лошади и люди, шедшие по сторонам дороги, а далее двигались темные пятна во мглистом тумане. Было холодно и сыро.

Обоз медленно продвигался по дороге. Вязкая глина цепко хваталась за колеса, за копыта лошадей, за сапоги пешеходов. С трудом выдергивались ноги. Мы шли походом с боевыми частями. Но в трех-пяти верстах от аула они свернули направо, по направлению к Ново-Дмитриевской, а обоз потянулся к станции Калужской. Я видел, как они отходили по узкой лесной дороге, между густыми высокими зарослями.

Как будто я узнал моего младшего в серой солдатской шапке, с винтовкой в руке, среди других на повороте дороги; белая папаха генерала Маркова как будто мелькнула в сумраке тумана.

Оба мои сыновья уходили от нас туда, в эту окутанную мглой лесную просеку. Лихорадка меня не трепала. Чувствовалось только недомогание и тяжесть после вчерашнего бреда. То, что я видел в бреду, не исчезло бесследно, и утром я думал все о том же.

Наша повозка, медленно ворочая колесами, сплошь облепленными глиной, двигалась за другими, также облепленными грязью. Пошел дождь, и, падая крупными каплями, охлаждал лицо и руки. Трудно было укрыться от дождя в тесноте нашей повозки. Вода скоплась в складках покрывала и одежды и при движении холодной струей заливалась в каждую щель. Ощущения стужи и сырости проникало во все тело.

Кисляков и Родионов предпочли идти пешком, чтобы согреться. Я продолжал лежать неподвижно на мокрой соломе, прячась, как мог, от холода и дождя. Глина размякла. Дорога не стала такой вязкой, и повозка покатила быстрее по лужам и грязи.

Местами мы переправлялись через мутные потоки, катившиеся широким разливом на нашем пути. Колеса опускались совсем низко, и вода касалась дна нашей телеги.

Мы ехали все время в гору среди редкого дубняка и кустарника. То чувство одиночества и заброшенности, которое я испытал, лежа на полу в черкесской сакле, остро охватило меня. Тревожно было думать пропасть в этой глухой туче.

Дождь продолжал бить тяжелыми каплями. Стало темно, как в сумерках. В низких ползучих облаках показались просветы: туман начал рассеиваться. В перемену с дождем падал снег то белыми хлопьями, то мелким градом. Дул резкий ветер, и под одеялом в полушубке ощущалась то в том месте, то в другом его острая, холодная струя.

Застучали резко градины по застывшему одеялу. Все покрылось ледяной корой. На усах, на бороде налип лед. Покрывавшее меня одеяло стало твердым, как доска, и хрустело при каждом движении, хрустели рукава полушубка. На шапке целая льдина; ее тяжесть ощущалась на голове. Холод в спине, в боку при всяком прикосновении к жесткой поверхности одеяла. Лежишь, точно скованный, в хрустящей жестяной одежде.

Медленно продвигался обоз по застывшей дороге. Наш серый лошадник с трудом вытягивал из ямы повозку. По сторонам виднелись отставшие телеги. Лошади выбивались из сил. Группы раненых пешком брели по мерзлой слякоти. Грузенные фургоны застревали в промоинах. На дороге стали все чаще попадаться брошенные подводы без лошадей и брошенная кладь, сваленная в кучу.

Стало вечереть. Деревья и придорожные кусты, покрытые инеем, белеют в тусклых сумерках. Какие-то люди, согнувшись, пробираются стороной. Их видно на белеющем снегу. Среди них женщина. Вьюга раздувает ее косынку. Она сжала перед собой руки, идет наклонясь.

Порыв ветра сдул косынку, и растрепанные волосы разнеслись по ветру. Она как-то беспомощно схватилась руками за голову. И увидел тетю Надежку. Мне стало невыразимо жаль ее, эту тихую и скромную девушку.

Снег крупными хлопьями повалил кругом. Я чувствовал боль от холода, боль от жалости к этой беспомощной, молоденькой девушке, бредущей из аула в мятель по глухой лесной дороге, боль ото всего, что я видел. Больные, раненые, умирающие — захваченные дикой снежной пургой в глухом лесу. Стало совсем темно.

Каждый толчок по застывшему, глинянному грунту отзывался резким ударом в спину. А лошади двинулись быстрее. Нужно было спешить доехать до станицы. Мучительно было трястись по мелкой колотиле, когда мы рысью проезжали по выгону и затем по станичной улице вдоль заборов, по замерзлым комкам. Повалил снег и покрыл все белым саваном. Среди ночной темноты редкие огни мерцали в окнах.

Мы долго стояли на площади перед каким-то зданием с крылечком. Я остался один на подводе. Все ушли в поисках за квартирой. Отворялась дверь, и освещенная изнутри полоса открытой дверной створки ярко выступала на темном фоне здания. Входили и выходили люди.

Ветер завывал и со свистом погнал и падающие хлопья снега, и снежную пыль и закрутил в вихре. Все помутилось и зарябило в глазах. Наконец, я услышал, как, подходя к нашей подводе, Новосильцев ругался, что ни от кого нельзя добиться толку.

Он уселся на передок, влезли двое других, и мы тронулись по густому, наваленному снегу в темноту, раза два или три где-то останавливались, пока не отыскали, наконец, хату, куда нас пустили на ночлег. Меня с трудом высадили и провели по ступенькам на крылечко и оттуда к косятку, тускло освещенную височей лампой.

В комнате казаки собирали свои вещи, шапки, винтовки и выходили наружу. Это были кубанцы, отправлявшиеся на Ново-Дмитриевскую и очищавшие для нас помещение.

После холода сразу почувствовалось тепло. Я скинул тяжелую, обледенелую шапку с головы, снял промерзший полушубок и улегся. Было приятно лежать на мягкой постели в тепле, возле горячей печки. Новосильцев пошел хлопотать о лошадях, Кисляков в кухню, к хозяйке.

К нам то и дело входили люди, искавшие так же, как и мы, куда бы приткнуться, и с досадой уходили. Но все-таки какие-то женщины-прапорщицы вымолили разрешение поместиться в углу нашей комнаты на полу.

Я дремал, но уснуть не мог. На дворе слышно было, как завывала вьюга. Прошло не более часа, как те же кубанцы, занимавшие нашу комнату, вернулись назад. Они вошли, покрытые снегом на бурках, на пагозах, на бородах. — "Эти не видно, где уж тут дорогу найти?" — говорили они и намеревались вновь водвориться в оставленном ими помещении. С трудом удалось генералу Кислякову их выпроводить.

Мы знали, что кубанцы должны были идти на поддержку наших боевых частей; знали, что в ту же пургу наши пошли в поход и теперь вели бой под Ново-Дмитриевской. Завывание вьюги, возвращение кубанцев, их отказ от выполнения боевого приказа заставляло с тревогой задуматься о своих.

Я видел их утром на повороте двух дорог. Теперь в эту стужу, которая так измучила нас на переходе, они одни, оставленные кубанцами, ведут ночной бой в такую снежную пургу. С беспокойством прислушивался, как на дворе бушевала вьюга.

Вошел молодой казак. Он отряхнул от снега бурку и папаху. "А там во всю жарят" — сказал он равнодушным тоном. "Со двора все слышно. Пулеметы так и трещат".

Это был знакомый Родионова по Новочеркасску. Он был наряжен в цветной бешмет и в черкеску, туго перетянутую в талии серебряным поясом. Его щегольской вид, красивое лицо с усиками производили неприятное впечатление.

Он тотчас начал перебирать с Александром Ивановичем новочеркасские воспоминания, и в этих рассказах он, видимо, так же хотел покрасоваться, как и в своем костюме.

Разговор перешел на убийство доктора Брыкина. Это было убийство, наделавшее большой шум в Новочеркасске. Доктор Брыкин вел и в казачьем кругу, и в печати, и на собраниях агитацию за большевиков. Его ненавидели, и однажды он вдруг пропал. Через неделю тело его нашли в колодце. Убийцы так и не были разысканы.

И вот теперь в станице Калужской один из участников убийства рассказывал нам, как они заманили доктора ночью к больному, свезли на извознике на окраину города и убили, а труп сбросили в колодезь.

Самый хвастливый тон рассказа был неприятен. Он говорил, заложив ногу на ногу и поигрывая концом своего серебряного ремешка. В комнате становилось душно. Я встал и вышел на крыльцо. На ступеньки, на пол крылечка нанесло груды рыхлого снега. Темь стояла непроглядная в небе так же, как и кругом у крыльца.

Ветер упал. Вьюга затихла. В ночной тишине отчетливо трещал так хорошо знакомый механический звук пулемета. Он все усиливался и усиливался. Что может быть с ними? Бой не затихает. Треск слышен как будто совсем близко, вот здесь, за темнотою сада.

Я оперся на перила. Порыв ветра вдруг снова сорвался, и пулеметный треск как-то особенно резко давал о себе знать. Им нужна помощь, а казаки вернулись назад.

Когда я пошел обратно в комнату, казак уже простался и уходил. Все укладывались спать. Мне оставили тарелку супа и корку хлеба. Есть мне не хотелось. Лампа все не могла погаснуть. Вспыхивающий огонек среди темноты долго не давал мне покоя. Я закрывал глаза и сквозь опущенные веки видел красноватый мелькающий свет.

И опять я почувствовал то же одиночество в этой душной комнате, наполненной людьми. Я не спал, лежал с закрытыми глазами и видел. Дорога в лесу. Корявый дубняк. В стороне люди идут в метель, согнувшись, и среди них женщина.

Ноги ее босы. Волосы не прикрыты, растрепаны по ветру. У раскрытой груди она держит что-то, укрывая от стужи своими худыми руками. Ветер сбивает ее с ног, треплет ее платье, силится вырвать из ее рук. А она идет и идет, вся нагнувшись, прижимая к себе свою ношу. Ленщина была молода, она не походила ничем на старуху.

Но я знал, что это была она. Без стонов, без жалоб она шла. Но страшнее всяких укоров был ее вид.

В забытьи чувствуется острая боль в голове. Какой-то однообразно повторяющийся звук тревожит меня. Ха, ха, ха, хохот. Трах! трах! кто убит? Я подымаю голову. Темно. Слышен храп. Однообразные звуки не дают мне заснуть. Прижавшись к подушке, заткнув уши, я все-таки продолжаю слышать, и именно это храпенье мучает меня.

Я провел бессонную ночь. И только под утро, когда стало светать, измученный забылся тяжелым сном. Когда я проснулся, яркие лучи солнца вливались в окошко. В комнате было светло, как бывает при первом снеге. Я поднялся. В окно виднелся белый, белый снег.

"Ну, и горазды вы, батенька, спать" — сказал Иван Александрович — "уже четвертый час".

Кисляков только-что пришел из штаба с известием, что Ново-Дмитриевская нами взята. Он рассказывает подробности ночного боя. Горная речка разлилась в такой поток, что только на крупе лошадей удалось перебраться на ту сторону. Все орудия остались на этом берегу, их нельзя переправить.

Красных накрыли врасплох, спящими в хатах. Генерал Корнилов, взяв винтовку, сам со своим конвоем выбивал большевиков из здания станичного правления. Я уже не слышал всего, что он говорил. Я был охвачен одним чувством — ужасная ночь прошла.

К нашему забору под"ехал кто-то верхом. Я узнал Родзянко. Грузный, в черной поддевке и в смушковой шапке, он слез с вороного коня и привязал его к плетню. Кисляков и Новосильцев вышли встречать его на крыльцо.

Через минуту его густой бас, столь знакомый по Думе, гудел в нашей комнате.

"Да, господа, все, что происходит, можно приписать только чуду. Опоздай вы на день, и мы погибли бы все. Корнилов спас мне жизнь", сказал он, опускаясь на кровать. "Только Корнилов может спасти Россию. Я всегда это говорил".

"Ночной штурм в снежную пургу — это по-Суворовски", сказал довольный Новосильцев.

"Только Лавр Георгиевич мог решиться на такое дело. Ну, и спасибо ему. Даст Бог, скоро и в Екатеринодаре будем".

После тревоги и тяжелых ночных впечатлений, измучивших меня, я испытывал только одно — острая боль прошла, и ничего другого я не чувствовал, кроме облегчения от мучительной боли.

XIII.

Мы простояли три дня в станице Калужской. После радостного возбуждения при первом получении известия о победах, жизнь потекла своим обычным ходом, как всегда на стоянках.

Большевики нас не тревожили. Станица не была под обстрелом. С утра хлопотали, где бы достать чего-либо поесть /в Калужской было так же голодно, как и в аулах/; радовались, когда удавалось раздобыть кусочек баранины, вылавливали насекомых из рубашек /аулы наградили нас чесоткою/, ходили к знакомым, собирали сведения, ругали начальство — кто за беспорядки в лазарете, кто за какие-либо другие грешки или глупость, от скуки играли в преферанс по целым дням.

И эта обыденная, повседневная жизнь в походе под обстрелом так же, как и в мирной обстановке, каждый день рядом со смертью, поражала меня, несмотря на всю ее привычность.

Были и ухаживания. Немытые руки, грязное белье, небритые лица, зуд от насекомых — ничто не останавливало людей от их влечений; ни тягота похода, ни опасность.

Люди играют в карты, пьют вино, забавляются, ухаживают. И вдруг разрыв снаряда среди коиматы — и трое раненых, один убит. Там на площади ехали верхом на прогулку, и осколком шrapнели тяжело ранило одну из наездниц. А жизнь продолжает течь все так же: сегодня, как вчера. Все так же играют в карты, кого-то осуждают, устраивают попойки, ухаживают ... вдруг смерть.

Человек, несмотря ни на что, сохраняет все свои привычки, всю свою психологию, свое маленькое я. Не хочет и не может понять.

И поразительно странно было видеть на воротах какой-нибудь хаты в казачьей станице крупными буквами мелом написанную надпись: "Председатель Государственной Думы".

Нет уже ни Таврического Дворца, ни Белой залы, а за Кубанью в глухой станице все еще на своем посту председатель Государственной Думы.

Кубанская рада, хотя от своей власти сохранила только извозчицьи коляски, вывезенные из Екатеринодара, все продолжала считать себя правительством, ревниво оберегая суверенные права Кубанской республики, ставила свои условия генералу Корнилову и в Ново-Дмитриевской станице под обстрелом разбавшихся снарядов подписывала договор с командующим Добровольческой Армией, забыв, что всего несколько дней тому назад эта самая Рада была бы перерезана большевиками, не приди на выручку генерал Корнилов.

Либеральный общественный деятель все так же держался своего мнения на самодержавный режим и на завоевания революции, а писатель-реакционер все так же его обличал.

Давно, казалось бы, нужно забыть о прошлом. Где уж тут спорить о конституции! А выходило наоборот. Чуть сойдутся где на стоянке, и начинаются дебаты на политические темы, как будто мы были не в сакле горного аула, а на собрании Вольно-Экономического О-ва.

И как это ни странно, но политические разногласия разделяли людей на два непримиримых лагеря даже во время Кубанского похода. Ничто не меняло людей. Каждый оставался тем, чем был.

Все значительно огрубело. Выработался свой язык: "драпануть", "угробить", "хуже", "извиняюсь", "ловчиться", "загнуть", и т.д. "Сполочь" стало самым обиходным выражением.

Были и мелкие интриги, и зависть между людьми, и злословие, и пересуды. Была и рознь, и раздоры. Те, кто стоял за Корнилова, нападали на Алексеева, и обратно. Составлялись заговоры, замыслились покушения. Развилась какая-то страсть к выслеживанию и доносителству.

У каждого был свой излюбленный человек. У кого полковник Кутепов, у кого Неженцов, Гершельман, капитан Капелька и пр. И приверженность к своему выражалась, прежде всего, в нападках на тех, кто не свой.

Казачи держались обособленно, но то же обособление было и в добровольческих частях между Корниловским и Офицерским полком, даже между ротами одного и того же полка.

Третья рота, составленная из гвардейских офицеров, встречала ревнивое к себе отношение со стороны других частей, так же, как и кавалерия. Их упрекали за привилегированное будто положение. Какой-то мелкий бес мучил людей.

И среди всех этих житейских дразг, среди обыденщины соперничался самый возвышенный и тяжкий подвиг Кубанского похода. Рядом бок о бок и героизм, и человеческая слабость.

.....

В Калужской я встретился с моим школьным товарищем К. Он случайно узнал, что я лежу больной, и зашел меня навестить.

"Никак не думал, душа моя, встретить тебя в этих местах", говорил он, входя в комнату. "Я-другое дело, я-бродячая собака, но какими судьбами тебя занесло в эту трущобу?"

Я объяснил ему, что мои два сына в армии, и я не хотел расставаться с ними.

Он покачал головой. "Все это, быть может, и красиво, но нежизненно. Где уже тут до красоты среди такой сплошной грязи".

"Мне не хотелось бы тебя огорчать" — продолжал он, — "но в успех вашего предприятия я не верю. Будь хоть семи пядей во лбу Корнилов. Против рожна переть нельзя. Посуди сам: офицерства 200-300 тысяч, а сколько в вашей армии? 2-3 тысячи, самое большое. А где остальные? Тут уж ничего не поделаешь". Он остановился. "Пропала Россия, погубили, а снявши голову, по волосам не плачут" — и он махнул рукой.

"Я никого не хочу обвинять — ни вас, ни Государственной Думы, ни Временное Правительство, ни Керенского. Так, видно, нам на роду написано. Ты спросишь, отчего же я воюю. Скажу тебе откровенно, друг. Столько видел я гадости в жизни, столько подлости наблюдался, так узнал, что такое люди, что нет больше охоты жить".

"Застрелиться я не хочу. Ну, вот и ищешь, чтобы какая-нибудь маленькая пуля с тобой покончила. Умереть так все же лучше, чем от какой-нибудь болезни с докторами, с лекарствами и с сознанием своей полной никому ненужности. Здесь все-таки для чего-то отдаешь жизнь".

Он замолчал. Лицо его обмягло, под глазами мешки, небритые щеки покрыты щетиной. Мне грустно было его видеть.

Когда-то вместе с ним мальчишками мы ходили в гимназию, сидели рядом на одной скамье. Он был способный ученик, все ему давалось легко. Он был хорошо воспитан. Его мать заботилась о его воспитании. Состояние их было значительное.

И я всегда думал, что К. сумеет проложить себе дорогу в жизни. Знал я его и студентом Московского Университета, и после, когда он поступил в один из гвардейских кавалерийских полков в Петербурге.

Но было в нем что-то, что портило всю его жизнь. Была ли это неуживчивость его характера, или такова его судьба. Но только ему всегда не везло. Нигде он не приходился как-то ко двору, и всегда сам себе портил.

Он стал много пить. В Японскую войну поступил в Забайкальские казаки, но ничем на войне не выделился. И здесь ему не везло. Из него не выработался хороший военный, хотя он и считал военное дело своим призванием.

Бросался он и к бурам в Африку, и к болгарам, во время Турецкой войны. Нигде не было удачи. При объявлении войны 14 года он оказался на немецком курорте, был задержан в Германии и только перед самой революцией был выпущен в обмен на германского офицера.

Он оказался неудачником в жизни: холостой, пьющий, без привязанностей и без всякой цели. А он был умный, способный, подзававший большие надежды в молодости. Я напомнил ему наши гимназические годы.

"Да, да, что и говорить. Хорошее было время", задумался он. "Единственное в моей жизни". Мне было грустно глядеть на него.

"Да, друг мой, тяжело подводить итоги. Вот мы уже с тобой старики, а думали ли мы когда-нибудь, что нам придется кончать жизнь вот так, как сейчас".

Он помолчал. "Давай, лучше поговорим о чем-либо другом", — и он начал рассказывать, как он попал с Кавказского фронта в Екатеринодар и вместе с казаками сражался против большевиков.

"Вот, лезу на пулю, а ни разу ранен даже не был. И тут то же невезенье", сказал он с какой-то горькой усмешкой.

.....

Знакомо ли вам чувство победы? О, какое это радостное чувство. Везешь в селение, занятое с боя. На площади русское знамя, где вчера торчала красная тряпка. Усталости, как не бывало, оживленные рассказы, веселые лица. Вот мальчик кадет перелезает через плетень и, увидев нас, весело машет рукой.

Раненные, собравшись на крылечке, пригретые солнцем, шумливо разговаривают между собой. По их громкому говору, по их лицам видно, что и им хорошо. Они оживлены общим чувством бодрости.

Генерал Марков не идет, а как всегда бегом проходит через площадь и на ходу о чем-то толкует с капитаном, едва поспевающим за ним. Родичев шагает большими шагами сзади /племянник нашего думского оратора Ф.И.Родичева/. Он узнал нас, остановился и с жестом, напоминающим своего дядю, рассказывает про прошедший ночной бой.

По площади проходит взвод. Генерал Корнилов вышел с крыльца белого дома. Два часовых вытянулись перед ним; блеснули на солнце клинки пашек. Генерал здоровается с проходящим взводом. И в ответ громкий торжествующий раскат голосов оглашает всю площадь. И в этом торжествующем возгласе вы чувствуете свое гордое право быть русскими.

Офицерские золотые погоны: как гордишься ими в эту минуту. Как дорог безусый прапорщик. Как любишь мальчика-кадета. Он перескочил через забор и с веселым лицом подбегает к вам.

На древке, воткнутом в плетень, размахнутое по всю ширь трехцветное полотнище трепещет и колышется по ветру. И этот лоскут, на который раньше и внимания не обращал, теперь кажется таким дорогим, своим знаменем. Сколько раз я видел на походе это знамя в руках всадника за генералом Корниловым и всякий раз испытывал те же чувства волнения.

Знамя, русское знамя! За ним шли мы по унылому степному пространству, переправлялись через железнодорожные пути, переходили разлившиеся потоки и реки, подымались в горные аулы, прошли уже шестьсот верст, прокладывая штыками путь. И впереди ничего кроме своего знамени.

Мы не знали страха перед большевиками. Мы видели их в бою, видели их испуганно бегущими, видели их пленными, угрюмо шагающими толпой за обозом. Но ужаса и срама быть под властью большевиков мы не знали.

Только по рассказам я могу представить себе, во что превращается та же большевистская толпа, когда она чувствует, что ее боятся.

Русское знамя! Среди какой опасности, в скольких боях оно, это знамя, вело нас за собой. Оно охраняло нас от срама и унижения. Оно подымало на ноги тех, кто готов был упасть. Оно плекло нас вперед и вперёд.

Да, какое радостное чувство увидеть русское знамя, развернутое по всю ширь по ветру на площади взятого с боя селения.

.....

Я разыскал своих на околице Ново-Дмитриевской станицы. Я застал всех их в сборе. На столе стояла миска с дымящимися щами. Каждый деревянной ложкой черпал горячий суп и закусывал ломтем хлеба. И тут же за едой они рассказали, как они переправлялись на крупномощей через бурлящий поток. Через тот же поток мы переехали уже на третий день, когда воды спали, и то нам приходилось ехать по мосту, затопленному почти выше перил.

Большевики выбивали из хаты в хату. Это были матросы. Тех, кого захватывали в хатах, прикалывали штыками.

Я слушал рассказ и глядел на своих, слушал и не мог поверить, чтобы этот мальчик, прапорщик с задумчивыми синими глазами, как будто подернутыми печалью, мог вынести такое нервное напряжение ночного боя, во время снежного бурана.

Не верилось, чтобы этот худенький вольноопределяющийся с круглым, нежным лицом мог со штыком на перевес врваться в хату, и перед ним в испуге разбегались бы матросы, спасаясь, кто как мог.

В снежную пургу, в обледенелых шинелях, в лапах, покрытых льдом, когда нельзя было вынуть патроны из сумки, зажатой в ледяной коре, они шли в ночной штурм Ново-Дмитриевской станицы, среди такой непогоды, что казаки кубанцы не решились идти, и повернули назад.

Теперь они молчали, как будто не об них шел рассказ. Младший удивленно раскрыл бы глаза, если бы ему сказали, что он совершил подвиг...

Тотчас после обеда двое, взяв винтовки, ушли в дозор. Другие занялись каждый своим делом. Кто разбирал и смазывал винтовку, кто чинил иглою дыры на своей шинели, кто выправлял сбитый каблук сапога.

Капитан Займе улегся на постели. У него был землистый цвет лица. Болезнь сердца давала себя чувствовать.

Молоденький прапорщик с трудом снял сапог, развязал портянки, и его босая нога оказалась в крови. "Нет, ничего", сказал он, — "это пустяки".

Один мой знакомый говорил, что он не мог без слез видеть наших офицеров в стоптанных сапогах и в поношенных шинелях, обрызганных грязью на походе. Да, но это не только слезы грусти, но и слезы гордости.

В Ново-Дмитриевской состоялось соединение нашего отряда с кубанским. Боевой состав наш увеличился до 6 тысяч штыков и сабель. Главное, мы получили конницу, которой нам так не доставало. Кубанцы влились в наши ряды и были подчинены одному командованию. Подчинение это было достигнуто, однако, не без сопротивления со стороны кубанской рады.

В станицу Ново-Дмитриевскую на совещание с генералом Корниловым прибыли атаман Филимонов, председатель Рады Рябовол, глава правительства Бич и произведенный в генералы капитан Покровский. Шли долгие и томительные переговоры.

Над домом, где происходило совещание, рвались снаряды; граната разбила ворота, задрожали стекла, грязью обрызгало окна и стены; по крыше то и дело стучали страшные пули, и представители Кубани все продолжали спорить и доказывать необходимость сохранения своей особой кубанской вооруженной силы. Они так вошли в роль полновластных кубанских правителей, что ничто не могло их поколебать. Суверенные права Кубани, основы народной конституции!

Им и в голову не приходил весь комизм этих притязаний под обстрелом неприятельских снарядов в Ново-Дмитриевской станице на другой день после ночного штурма.

Они продолжали упорствовать, пока генерал Корнилов не стукнул кулаком по столу и этим не прекратил дебаты. Соглашение было подписано. Но притязания маленьких людей с их маленьким самолюбием имели не только комическую сторону. Самолюбия эти оплачивались кровью.

Благодаря тому, что кубанцы не исполнили боевого приказа и не вышли ночью в обход Ново-Дмитриевской станицы, большевики не были тогда же окружены и уничтожены.

Два лишних боя пришлось выдержать в последующие дни. Убитые и раненые, а могло бы быть /если бы не отвага добровольцев/ и поражение. Но об этом не думали.

Недобрые чувства подымались в душе, когда случалось видеть членов Рады, проезжающих в извозничьих колясках или верхом кавалькадой среди нашего обоза.

XIU.

Моросил мелкий дождь, когда рано утром мы вышли из Ново-Дмитриевской станицы. Широкая, однообразная равнина. Мелкий кустарник. Тут и там группы больших деревьев. В отдалении двигалась конница. Это уже была длинная линия, протянувшаяся по горизонту.

Мы знали, что предстоит штурм Екатеринодара. И при виде этой многочисленной конницы, двигавшейся в отдалении, уверенность крепла в своих силах. Екатеринодар будет взят.

Обоз продвигался медленно, с частыми остановками. Шел бой перед станицей Георгие-Афипской. Оттуда на Екатеринодар тянулась каменная дамба и железнодорожный мост через Кубань.

Как обычно, в обозе ходили слухи то тревожные, что наступление наше оборвалось, то напротив, что большевики обойдены и бой идет в улицах станицы. Остановка обоза отчего-то долго задержалась. Потом был дан приказ двигаться как можно скорее. Мы тронулись на рысях длинной цепью по луговине.

Впервые показалась высокая насыпь железной дороги. Видно было, как голова обоза подымалась вверх, перекидывалась и скрывалась за насыпью. Мы уже ехали во всю скачь.

Направо совсем близко от дороги за копной сена стояло орудие с высоко поднятым дулом. Вокруг орудия несколько человек-артиллеристов держались наготове.

Из-за деревьев вдали показался дымок. И тотчас из нашего орудия раздался резкий, металлический звук выстрела. И от этого выстрела, как от удара бича, лошади понеслись еще быстрее. Миновали лесок. На далеком протяжении стала видна каменная дамба и в конце надвигающийся на нас в клубах дыма бронированный поезд. Снаряд один, другой, третий разорвались в нескольких саженях от нас. Под колесами застучали камни.

Мы выкатились на железнодорожную насыпь. Толчки раз, два на рельсах, и мы покатились вниз по ту сторону насыпи. Вдоль полотна дороги, укрывшись за насыпью, лежала цепь наших стрелков. Орудийные выстрелы, разрывы снарядов, треск ружейной стрельбы.

Через мост. В глубине, в обрывистых берегах речка. Обозные повозки вкатываются в улицу станицы и скрываются за поворотом среди садов.

Отряд кавалерии, как мы узнали после, не выполнил данного ему поручения; полотно железной дороги осталось невзорванным, и бронированный поезд мог перерезать нам путь. Он был остановлен огнем нашей артиллерии.

Обоз счастливо успел проскочить, но мне З. сказал, что офицерский полк понес потери. Я долго ходил по улицам станицы, разыскивая расположение нашей роты. Случайно я зашел в одну хату. В комнатке, как будто никого не было, полный беспорядок, все перевернуто вверх дном.

Сундуки с открытыми крышками, валялось на полу тряпье, разломанный пустой шкап, разбросана побитая посуда. С постели кто-то поднялся. В темноте нельзя было разобрать. Приглядевшись, я узнал капитана Займе. Осунувшееся лицо. Глаза воспаленные.

- "Что с вами, капитан?" - "Да так, что-то нездоровится", ответил он, стараясь показаться бодрым. "А это что?" - "Эх, разбойники, что понаделали".

Я думал, что это работа большевиков. Оказалось, наши мародеры разгромили хозяйское добро. Капитан Займе, угрожая револьвером, разогнал их. Он был в сумрачном настроении.

Утром пришлось выдержать тяжелый бой. Колонна наша запоздала. И вместо того, чтобы подойти к станице в темноте, оказалась перед железнодорожной насыпью на рассвете. Большевики увидели и открыли огонь. Подошел бронированный поезд.

По тону, которым говорил капитан, мне показалось, что он скрывает что-то от меня. Мне было страшно спросить. "Ваши цели" - сказал капитан. "Младший заболел что-то, лежит в окошке. А наши еще не пришли. Нужно послать им перекусить" - добавил он, все так же сумрачно вставая и подходя к окну, где лежала на подоконнике жареная курица и каравай хлеба.

Оконные стекла задрожали в комнате. Где-то поблизости разорвался снаряд. Я вышел на улицу и повел отыскивать перевязочный пункт. Обстрел станицы продолжался. То тут, то там раздавались разрывы. Жители прятались в домах.

На улице изредка встречались прохожие. Я прошел мимо убитой лошади, валявшейся с закинутой головой. Кто-то указал мне дом, где помещался окошек. Я направился туда.

Трах! - раздалось за несколько домов от меня. Как будто сверкнула молния, и клубы дыма показались среди деревьев, в глубине двора. Люди выбежали из хаты. Пламя охватило стог сена.

Дом, где помещался перевязочный пункт, был совсем недалеко. Я вошел. Во дворе стояли и сидели раненные, в куче были сложены кровати, скамьи, столы, вынесенные из дома; у открытой двери ведро, забрызганное кровью, брошены окровавленные тряпки марли.

В низкой передней на глиняном полу один возле другого прижались раненные. Лицо одного мне бросилось в глаза — мужественное, молодое. Усы выбриты. Резкие очертания сжатых губ и сосредоточенный взгляд. Рука положена на согнутое колено. Он, видимо, превозмогал нестерпимую боль. Стонов не было. Он молча ждал своей очереди. В следующей комнате, откуда была вынесена вся мебель, стояли посередине два сдвинутые стола.

На столе лежало оголенное, темно-бронзовое тело. Босые ноги выступали с грязными пальцами вверх, за конец стола. Доктор, в белом фартуке, с засученными рукавами, нагнувшись, ощупывал пальцами надутый живот. Две сестры, в белых передниках, поддерживали раненого.

"Проходите в следующую комнату" — сказала сестра. "Ваш больной там". Следующая комната была совсем тесная конурка. На полу лежали вповалку трое, на разостланных одеялах. Воздух был спертый. Нечем былодохнуть. Я увидел моего мальчика. Он лежал нераздетый, в шинели, свернувшись и подложив руку под голову.

Он повернулся ко мне лицом. Щеки пылали, и взгляд был какой-то жалкий, робкий. Увидав меня, он улыбнулся. Улыбка была та же детская. Боже, как было тяжело видеть его в таком положении.

"Пить хочется", сказал он. Я принес ему кружку воды. Он, приподнявшись, выпил. Оставлять его в лазарете я не хотел. Я уговорил его пойти со мной и решил взять его в своей подводе.

Он приподнялся, взял свою винтовку, стоящую в углу; ступая своими тяжелыми солдатскими сапогами, пошел за мной; мы вышли из дома. На улице клубился дым между деревьями на месте пожара. Весь день, до позднего вечера, станица находилась под обстрелом.

.....

Я сходил и нанял подводу у казака Андрея. Он сам и повез нас на своей тройке лошадей. Всю дорогу он шел пешком, сберегая своих коняшек, даже ночью он не садился. Когда ехали рысью, он держался за подводу и бежал сзади.

С нами увязался его синишка лет двенадцати, скверный, поропатый мальчишка. То перочинный ножик, то ложка пропадет. На одной из стоянок он, наконец, пропал, ставив у меня браунинг.

А отец был простоватый, но добросовестный старик. Когда я стал с ним расплачиваться, он отказывался принять деньги, говоря, что он нес службу, а за это плати не полагается.

.....

Наступила тусклая, туманная ночь. Лунный свет едва мерцал во мгле. Мы вехали в болотистую местность, в плавни, раскинутые вдоль берегов Кубани. Заросли мелкого кустарника, местами высокий камыш, дорога среди кочек, ритлин и болотистых луж.

То колесо провалится в яму, то зацепится ось за куст, повозка скрипит и переворачивается на сторону, опять зацепились, лошадь оступилась, сорвалась построжка. Нужно слезать, вытаскивать подводу, застрявшую в яме. Я шел по болоту, чувствовал холодную мокроту в ногах, сапог увязал в тине и при вытягивании хлопала в нем вода.

Не дай Бог, сломается ось, а провалы то в яму, то толчек на кочке на каждом шагу. Крики откуда-то из камышей. Слышны стоны раненого на повозке сзади нас.

"Помогите, Бога ради, помогите", слышен чей-то жалобный голос. К нам кто-то приближается из камышей. Всплески воды от тяжело ступающих ног. Показывается какой-то человек: он несет на руках женщину.

"Разрешите, господа, к вам поместить раненую. У нас повозка сломалась", говорит офицер. Он бережно укладывает женщину в нашу подводу. Это была молоденькая сестра. Она как-то беспомощно склонилась на солому и тихо стонала слабым, детским вздохом.

Всю ночь мы проучились, пробираясь среди плавней. И странное дело: меня не только не трясла лихорадка, но я чувствовал себя совершенно здоровым.

Откуда силы взялись и вытаскивать застрявшее колесо подводы, и лошадь вытягивать, и отгибать сучья кустарника. Руки все в грязи, промокшие ноги застыли, а болезненной слабости как не бывало.

Только под утро мы выехали на ровную местность. Я улегся на солому и заснул мертвецким сном до самого аула Панахеса, где мы остановились на дневку.

.....

Огромный табор на зеленом лугу. Был ясный весенний день. Солнечный свет разлит и в голубом небе, и по всей зелени широкого луга, и по голубоватой дали, где отчетливо вырисовываются очертания гор и снежные вершины.

Во всем чарующая красота весны: и в яркости, и в блеске свежей окраски зеленого луга. Как стая белых птиц, несутся облака, а над землею, ниже, такие же белые, как облака на голубом небе, скользят чайки одна за одной.

Дым и треск костров, говор, шум, оживление. Стреноженные лошади пасутся на лугу. Стадо из ближнего аула рассыпалось по долине.

Пастухи-татарчата подошли кучкой и глядят; с ними лохматый пес. Ближняя корова жадно захватывает сочную траву. Овцы, нагнув головы, быстро передвигаются кучкой по лугу.

И в эту минуту забываешь, что мы в походе, что на том берегу Кубани идет бой, забывается и та прошлая ночь, с ее мукой среди плавней.

Где мы? Отчего эти тысячи людей оказались здесь, на зеленом берегу Кубани, среди пастбища, где, как всегда, пасется стадо черкесского аула, и белые чайки, не замечая нас, скользят в прозрачной синеве воздуха. Поход, переправы через реки, тяжелые бои, раненные, убитые—как все это не вяжется с мирной картиной тихого луга в весенний день.

Я ходил на берег Кубани к переправе. С бугра был виден белый купол Екатеринодарского собора. Я долго стоял и смотрел. Казалось, блеск креста сверкал в солнечных лучах на куполе храма.

Корниловский полк, партизаны и кавалерия уже были на том берегу. Мы знали, что они уже разбили наступавших на Елизаветинскую большевиков и погнали их к Екатеринодару.

Внизу река катила свои мутные воды, до того мутные, что казалось — не вода, а потоки грязи несутся между берегов.

Паром, наполненный повозками, людьми и лошадьми, медленно передвигался, очищаясь на той стороне от заполнявших его, и уже пустой с двумя паромщиками возвращался назад, чтобы вновь принять груз запряженных повозок, ожидавших своей очереди.

Десяток рыбацких лодок суетливо скользил по мутной воде от берега к берегу. На пароме помещалось человек 50, не более. А здесь на лугу раскинулся целый табор нашего обоза.

И в голове не вмещалось, как можно переправить через реку тысячи людей и лошадей, сотни подвод, с ранеными и с артиллерийской кладью.

ХУ.

31 МАРТА.

В Елизаветинской нам отвели помещение в белой хатке в глубине двора, среди фруктового сада. Занятая нами комната с гладко покрашенным в желтую краску полом и выбеленными стенами, была убрана с той особенной опрятностью, какой отличаются кубанские станицы.

На окнах ситцевые занавески, растения в глиняных горшках, огромная во всю стену деревянная постель; на ней положены одно на одном одеяла и целая груда белых и расшитых узорами подушек, в углу иконы в золоченых ризах, перед ними зажженная лампада и восковые свечи, сложенные на столике, а по стенам — картины, изображающие Государя и Наследника в красной черкеске Государева конвоя.

Вся эта обычная обстановка казачьего дома своим уютным видом свидетельствовала, что бури, разразившиеся над Россией, не коснулись этого тихого уголка казачьей станицы.

В России уже не было Царя. Государь и Наследник-Цесаревич, чьи изображения висели рядом с иконами, были в ссылке в Сибири, где на Кубани шли ожесточенные бои, красные знамена на улицах Екатеринодара, а здесь, в казачьей хатке, затерянной в глубине фруктового сада, все осталось по старому.

Старушка вдова, ее дочь и невестка, в доме которых мы остановились, были приветливыми хозяйками и заботливо за нами ухаживали. Сын и зять ушли с казаками Елизаветинской станицы сражаться под Екатеринодар, и старушка все время тревожилась за своих, то и дело выбегая к соседям узнавать по слухам, кто из казаков ранен или убит.

Она была поглощена чувством тревоги за сына и только и думала о том, как бы поскорее увидеть его дома живым и здоровым. Показывая нам его портрет, стройного и красивого казака, она утирала слезы и жаловалась, зачем только его угнали опять воевать.

Старушка обращалась к нам с ласковыми словами, называя "родненькие мои", и все допытывалась, из-за чего воют и нельзя ли как помириться.

Я помещался в одной комнате с моим сыном, с поручиком Сокольниковым и с чернецовским партизаном Гришей Петренко. Оба они были ранены: Сокольников в бою под Кореновской, а Петренко в ночной атаке станицы Ново-Дмитриевской.

Сокольников, офицер военного времени из судебного ведомства, усталый от всего пережитого, в своем унылом настроении не раз высказывал мысли о бессмысленности нашей борьбы. "Русский народ дрянью говаривал он — из-за него не стоит собой жертвовать".

Эти слова приводили в ярость нашего партизана: весь красный, он кричал и, не умея спорить, убегал из комнаты. Впрочем, споры не приводили к обострению отношений между ними и они жили в большой дружбе.

.....

Я встал рано утром. В комнате было темно. На темных стенах лишь ясно выделялись окна: в них светилась бледная утренняя заря.

Я вышел во двор. Небо уже начинало светлеть, но сумерки еще держались над землею. Иней покрывал двор, изгородь, крыши сараев, скирды соломы.

На белом покрове выделялись темные очертания большого дерева, колодца под ним, неподвижно в дремоте стоявших лошадей у повозки и спавшего на куче соломы нашего возчика.

В утренней тишине явственно слышался крик каждого из петухов, перекликавшихся между собой то в том, то в другом конце... Но когда я зашел за угол хаты, я тотчас же услышал похожий на раскаты грома гул со стороны Екатеринодара.

Мой привычный слух различил в этом гуле и удары оружейных выстрелов, и среди ружейной перестрелки механический и своим механическим звуком раздражающий треск пулемета.

И в тишине утра во дворе с белой хатой, среди погруженного в сон селения, странно было слышать эти тревожные звуки войны при первом появлении света.

Проснувшиеся гуси один за одним продвигались по двору. Поросяенок возился, похрюкивая, в куче навоза. Женщина вышла с ведрами из хаты так же, как каждое утро. И только протяжный, тревожный гул, вриваясь извне, нарушал покой и тишину мирного, повседневного пробуждения тихого уголка казачьей станицы.

Подошла старушка-хозяйка; мальченок плелся за нею, держась за подол юбки. Она остановилась. Грохот орудий гудел в воздухе. — Господи, Иисусе Христе. Она стала креститься. — Матерь Божья, покилуй нас. У нее бил там сын.

По слухам я знал, что убит знакомый — князь Туркестанов и баронесса Боде. Говорили, что Корниловский полк понес большие потери. Убит полковник Неженцов.

Екатеринодар еще не взят. У наших не хватает снарядов и патронов. Офицерский полк без выстрела пошел в атаку и взял артиллерийские казармы. Раскаты орудийных выстрелов все усиливались и усиливались.

— Матерь Божья, помилуй и спаси! — твердила старушка в каком-то оцепенении, глядя в ту сторону, откуда несся этот страшный, неумолкающий гул.

Солнце уже поднялось и яркие лучи радостно полились сквозь чащу сучьев фруктовых деревьев на свежую зелень, на песчаный двор, на белые соседние хаты.

В узенькой улице показалась между изгородями группа всадников; впереди на высоком донском коне полковник Тимановский, сухой, жилистый, в кожаной куртке и, как всегда, с трубкой во рту. Следом за ним офицеры — кто в бурке, кто в офицерском пальто, кто в полушубке, в папахах и в фуражках.

Всадники шагом проехали мимо нашего двора по переулку и скрылись на повороте за деревьями. Раздались звуки песни. Тех, кто пел, не было еще видно, но их звонкие голоса пронесли в свежем воздухе утра, вливая бодрящие настроения в душу.

Ребятишки повывбегали из хат: кто карабкался на плетень, кто лез на перекладины. Окна растворялись. Казачки выглядывали на улицу. У порот останавливались люди.

Но вот показались и они: не больше сотни, по четверо в ряд. Они шли бодрим шагом. Над головами колышались штыки, то вспыхивая на солнце, то потухая.

Песнь звучала молодым, жизнерадостным задором: "За Царя... за Родину", отчеканивалось каждое слово, "за Веру" — гремело в воздухе.

И чувствовалась в звонких голосах, в их бодром виде, в заглубленных темно-бронзовых лицах и сила молодости, и ее отвага. Не было для них ни усталости, ни тяжести двухмесячного похода, а впереди не страшил отчаянный приступ Екатеринодара.

"За Царя... за Родину, за Веру" — разносилось далеко по станице. Весеннее солнце светило на белые хаты, на чуть-чуть распускающиеся зеленные пухом ветви деревьев, на пробившуюся зелень у дороги, на оживленные лица ребятишек, вскарабкавшихся на плетень, и на сотни молодежи, бодро под звуки песни проходившую в узеньком переулке Елизаветинской станицы.

Прошла рота офицерского полка, последняя остававшаяся на том берегу Кубани для прикрытия обоза с ранеными. Заколкли звуки песни и снова стал слышен протяжный гул, доносившийся со стороны Екатеринодара. Знакомый, артиллерийский капитан в рубашке с растегнутым воротом, опираясь на палку, зашел к нам в хату. Старушка принесла испечение ее жирные пышки, нарезала белого хлеба и поставила кувшин молока на стол.

Капитан Рахманов в это утро был как то особенно в бодром настроении духа; даже нашу хозяйку он сумел вывести из постоянной тяжелой думы о сине.

Сокольниковый был не в духе. Он все ворчал. Даже ласковость нашей хозяйки его раздражала: — Родненькие, родненькие, — а придут большевики и тоже будут родненькие.

— Под Катеринкой бой шел — стал он рассказывать. — Большевики подступили к самому селению. Шрапнели рвутся, пули свистят, а у бабы теленка снарядом убило, так такой вой подняла на всю станицу, хоть все бросай и беги, заткнув уши. Ее гонят, а она кричит, лезет, требует уплаты.

— Да и не бабы одни — продолжал он раздраженно, — а и мужики и те же казаки не лучше. Ни праязнить, ни растолковать, за что мы боремся, нет никакой возможности.

— На пакость, на какую угодно, подбить можно. Погромить, поджечь, ограбить сейчас готовы, а поднять их, хотя бы на защиту самих себя, не то, чтобы родины, этого никак нельзя. Вот и извольте за таких людей воевать.

— Как вы думаете, капитан, — спросил он — стоит за русский народ собой жертвовать или не стоит? Мы вот все с партизаном спорим.

— Да я за русский народ воевать и не намерен — ответил капитан, — а я воюю потому, что если бы не воевал, то считал бы себя подлецом — глядя на Сокольникового, заявил он.

— Вот это так — обрадовался Гриша тому, что капитан высказал то, чего он не умел высказать. — Вот это именно так и есть.

— Нет для нас никого. Генерал Корнилов, и баста, и больше никого знать не хочу. Все остальные сволочь — и наплевать, пусть сволочью и остаются, и мне дела до них нет — кричал партизан.

Славный малый был этот Гриша Петренко, с его открытым выражением лица, с наивными карими глазами и с краской, заливавшей все лицо до ушей, когда он волновался.

Я знал его еще в Новочеркасске. Из старшего класса реального училища он ушел в отряд Чернецова, участвовал во всех его удачных набегах, попал в плен вместе со своим школьным товарищем и сумел убежать, сбив с ног ударом кирпича по голове сторожившего их красноармейца и захватив с него винтовку.

Он ушел с нами в поход, отличался безразсудною храбростью и был ранен в ночном штыковом бою под Ново-Дмитриевской.

— Нет, нет, Александр Семенович, что вы там ни говорите, голубчик, — говорил Гриша Петренко, остыв от пика своего гнева, — а мы ваших большевиков угробим, всю сволочь, какая ни на есть.

Среди разговора я увидел в окно, как во двор въехала подвода. Женщины убежали из хаты. Приезжали раненого зятя нашей хозяйки. Я вышел во двор. — Ох, ох — стонал раненый, когда его стали поднимать с подводы и переносить в соседнюю с нами хату.

- Сине, сине, а где синочек мой? Где он, жив, жив, что ли? - сама не зная, к кому, обращалась старушка. Какой-то казак, стоя у ворот, шептался с нашим возчиком. Они замолкли при моем приближении.

На мой вопрос, о чем они говорят, возчик, старший Андрей, смущенно ответил: "Так брешет, генерала убили". Он не назвал Корнилова, но я понял, что речь шла о Корнилове, а не о каком-либо другом генерале.

Пришли два офицера и, оглядя меня в сад, передали, что они только что из штаба. Корнилов убит сегодня утром снарядом, разорвавшимся внутри его комнаты, на хуторе, в трех верстах от Екатеринодара. Тело его уже привезли в Елизаветинскую.

В смущении они передавали слухи, что из Темрюка по Кубани плывут пароходы с красными войсками; с часа на час можно ожидать нападения.

Пришел доктор. По лицу его видно было, что он в полной растерянности. Он предлагал разбиться и отдельными группами переправиться через Кубань, а там, через перевал, на Туапсе. Он знал дорогу и брался быть проводником.

Доктор говорил шепотом, чтобы его не могли услышать раненные, лежащие под фруктовыми деревьями. Взглянув в их сторону, он смутился и замолк.

- Сине мой, сине! - беспомощно стонала старушка. Глядя на нее, и мальчик-внученек громко заплакал, утираясь двумя рученками.

Из хаты вышел капитан и, подойдя, заговорил с нами своим твердым, бодрым голосом:

- Эх, господа, - произнес он укоризненно - чего вы тут панику разводите? Побоевали с Корниловым, сумеем и без него воовать.

Доктор и офицеры ушли. Весть о смерти Корнилова распространилась по всей станице. Во всем чувствовались тревожные настроения. У ворот собирались кучки и о чем-то шепотом переговаривались.

Прохожие оглядывались в ту сторону, откуда доносился гул оружейных выстрелов. Запрягали лошадей и по улице потянулись одна за другой подводы с ранеными.

Наша старушка-хозяйка с соседями стала собираться ехать, чтобы привезти сына к себе домой. В нашей комнате мы сидели молча, избегая разговаривать друг с другом.

Гриша оперся на стол. Лицо у него было строгое, недетское: - Мы должны. Мы отомстим - сказал он угрожающе кулак. Опять молчание водворилось в комнате.

В наступивших сумерках огонек в лампаде мерцал на золотых окладах икон, тускло освещая царские портреты, висевшие на стене. День клонился к вечеру. Звон церковного колокола зазвучал в открытое окно. Вечерний звон после тревожно проведенного дня.

Раздались звуки военных труб, торжественные звуки похоронного марша. Медный трубный гул сливался с колокольным звоном в тихом, вечернем воздухе.

Он возвещал в глухой казачьей станице о том героическом и роковом, что совершилось в это утро на берегу Кубани.

.....

Я видел генерала Корнилова в гробу, в серой тужурке, с генеральскими золотыми погонами. Первые весенние цветы были рассыпаны на черном покрывале и внутри гроба. Огоньки восковых свечей тускло освещали лицо мертвенно спокойное.

Я глядел на черты лица типично киргизского, всегда полного жизненной энергии и напряжения, и не узнавал его в мертвенном облике, неподвижно лежащем в гробу. Точно это не был генерал Корнилов.

Отошла служба, офицеры вынесли гроб, а все казалось, что Корнилов не здесь, в этом гробу, а там, под Екатеринодаром, откуда доносился рев орудийных выстрелов все еще незатихавшего боя.

ХУІ.

Армия оторвалась от Екатеринодара и ночным переходом из Елизаветинской станицы двинулась в путь.

Под утро мы остановились в небольшой немецкой колонии в Гначбау. Белые дома под красной черепицей вытянуты в ряд по прямой улице; один дом, как другой, с теми же зелеными ставнями, в такой же ограде, с таким же двором, садом и огородом.

Обоз скучился, одна повозка возле другой. В тесноте боевых частей, конных, пеших, обозных подвод, лошадей, артиллерийских двуклоков, снарядных ящиков, трудно было пройти. После полудня начался обстрел. Говорили, что большевики подвезли двенадцать орудий.

С нашей стороны выстрелов не раздавалось; снаряды падали в сады, в огороды, иногда среди обоза; к счастью, разрывались редко. Впереди нас среди конвоя разорвалась граната. Несколько человек было ранено и убито.

Я сидел в повозке возле больного мальчика. Возчик, старый Андрей, как-то уныло возился около лошадей; его сыниска забился между колес под рываном.

Из соседнего дома доносился стон, из открытого окна. От него нельзя было уйти. Стоя этот, далеко слышимый, тонил своею мучительной протяжностью.

Трах! Столб черной пыли взвился на соседнем дворе. Испуганные гуси, махая крыльями, с гоготаньем понеслись в сторону. Собака взвизгнула и, волоча отбитым задом, ползала по земле.

Я помню: возле нашей подводы стоял какой-то парень с тупыми глазами, в старой солдатской шинели на голом теле. Ноги босые.

Он захохотал, оборачивался, показывал пальцем и опять хохотал. Собака судорожно дергала ноги. Кто-то прикрикнул на него. Он прижался и замолк. Откуда он явился? Был ли это идиот из немецкой колонии, или увязался с нами кривой из Елизаветинской? Кто его знает. Кто-то приколол визжавшую собаку. И опять все внимание приковывается этими стопами, из открытого окна.

А кто она, эта сестра? Знакомая ли, или я ее не знаю? И вдруг, как будто кто-то шепнул: "За что Царя согнали?" — Но, Боже мой, разве мы виноваты? В мыслях перебираешь прошлое, как будто ищешь оправдания.

"За что же эта сестра мучается?" приходит на ум. В чем ее вина? Пусть казнятся те, кто виноват, а не эти дети.

И снова мучительные стоны как бы молят об ответе. Все их слышат так же, как и я, — и раненые в повозках, и мой больной мальчик, который лежит тут же.

Этот стон, несшийся из открытого окна, стон раненой сестры, он звучал всеми муками наших раненых, больных, изувеченных людей, той мукой, которая таилась в душе каждого из них. О том, что вас может ранить, убить, не думаешь. Подавленный, думаешь, как бы прекратить эти стоны, не слышать их.

Генерал Алексеев проходит. Он все такой же спокойный. Проходя, он участливо спросил о моем здоровье. Вольноопределяющийся поднялся с повозки и прикладывает руку к папахе.

"Лежи, лежи, голубчик", говорит ласково старик. Алексеев прошел в тот дом, откуда неслись стоны.

До самого вечера обоз простоял неподвижно, скученный в узкой улице колонии Гначбау. Стемнело сразу. Луна поднялась из-за деревьев. Разрывы вспыхивали в темноте. Обоз зашевелился. Какой-то хозяин-немец в соседнем дворе ругался, не давая своих лошадей запрягать в повозку.

Наша телега тронулась. Мы свернули и по огородам сквозь проломанный плетень выехали на выгон. Во весь скач ичались повозки, и не одна за одной, а раскинулись по всему выгону. В темноте мы катились вниз по откосу без дороги.

Толчек — и мы увязли в каком-то болоте. Соскакиваешь, идешь по трясине. Лошади остановились. Хватаешь их за узды, стараешься вытянуть. Возчик Андрей хлещет их кнутом. Мы остановились одни ночью в болоте. Обоз гремит где-то далеко.

Трах! Разрыв снаряда. Нас обдало брызгами и грязью. Со всею силою тянешь за узду. Лошадь под ударом кнута вскидывается. Опять грязью обрызгало все лицо. Снаряд шлепнулся в болото, но не разорвался. Лошади рванулись. Повозка выскочила из трясины. Во весь скач мы нагнали обоз.

Вторая ночь в пути. Усталый, я всю дорогу дремал в забытьи. Испытываешь только одно чувство облегчения от пережитых волнений прошлого дня, когда мы стояли в улице немецкой колонии. Мы вырвались из опасности. Ничто не угрожает.

Помню, как откроешь глаза, видишь над собою небо в мягком лунном сиянии, не слышишь резких звуков разрывов, не слышно мучительного стога. Тишина. Веет величавым спокойствием с высоты ночного неба. И думается, что все миновало. Ничто не тревожит. Помню — мы проезжали мимо какого-то водного разлива. Что это — река?

Волны с плеском накатывались к самой дороге. Блески лунного света на всей шири колеблющейся водной поверхности. Какое-то озеро. Колеса катились по плотному песчаному грунту. Толчков нет. Взглянешь: Андрея не видно на передке, бежит возле повозки.

Хорошо было бы так катиться и катиться по дороге без тревоги, без дум в тихой дремоте ночи. Трах, трах, трах — треск ружейных выстрелов. Отчетливый стук пулемета. Два орудийных удара, один за другим. Что такое? Приподнявшись, оглядываешься кругом.

Сумерки ночи. Месяц спустился на самый край небосклона. Яркие, одинокие звезды, опрокинутые с высоты неба. Два, три прозрачных, светлых облачка среди нависших ложилий, темных туч. Бледный, лунный блеск. Нет света зари. Багряная полоса среди полутьмы ночи.

"Кавалерия вперед" — передается от повозки к повозке, докатывается до нас, и далее уже сзади слышится — "кавалерия вперед". Что случилось? Пулеметный звук вдруг оборвался. "Кавалерия вперед" — слышится где-то очень далеко позади нас.

А никто не выдвигается. Смотришь по сторонам. В темноте не видно всадников. Каким безнадежным призывом звучит — "кавалерия вперед", — снова докатывающееся до нас от передних подвод обоза.

Багряная полоса все ширится. Гаснет лунный свет. Вспыхнули, охваченные огнем, края темных туч. Светлеет небо, но темь обволакивает землю. Вдруг в темноте мы наталкиваемся на насыпь. Телеграфные столбы. Белая железнодорожная будка.

Безформенная громада неподвижно лежит на путях, что-то чудовищное, неразличимое впотьмах. Изнутри этого безжизненно лежащего, чудовищного тела клубится дым, выскальзывают языки красного пламени. Рядом в белой папахе генерал Марков.

Мелькнула перед нами картина. Обоз митой скатился с насыпи. На рысях проехали мы станицу Медведовскую, перебрались через плотину у широкого пруда, поднялись в гору и остановились. Обоз раскинулся табором. Солнце ярко светило. Затрепали и задымилась костры. В оживлении, в говоре, в песне, подхваченной хором голосов, во всем чувствовалось приподнятое, бодрое настроение.

Нет, это не разбитая армия. Слышен веселый галор, смех, удалая, звонкая песнь. И точно ничего не было. Ни бессонных ночей в пути, ни отхода от Екатеринодара, ни немецкой колонии, ни этих пучительных стонов. Подходит тот, другой знаковый; передают один другому разные слухи о том, как все это случилось.

Произошло же это вот как. В сумерках, до рассвета, Марков с офицерами пробрались к железнодорожной будке и захватили ее. Вместо сторожа генерал Марков по телефону переговорил со станцией и заверил, что все благополучно. На станции стоял наготове бронепоезд и два эшелона с красными войсками, ожидавшие наш приход.

У железнодорожной будки за насыпью залегли офицеры, укрыты два орудия, дула наведены на рельсовый путь. Генерал Алексеев, Деникин, штабные все в тесноте возле будки. Показалась движущаяся темная масса.

Медленно, с закрытыми огнями, надвигался бронированный поезд, только свет от открытой топки скользит по полотну. Поезд в нескольких шагах от будки. Марков бросился к поезду.

- "Поезд, стой! Своих раздавишь, с... с..." - У кого-то из стрелков выхватив ручную гранату, Марков бросил ее в машину.

В мгновение из вагонов открылся огонь из ружей и пулеметов. Грянул орудийный выстрел, и паровоз с треском повалился передней частью на насыпь.

Со всех сторон бросились к поезду, стреляли в стенки, взбирались на крыши, пробивали отверстия, бросали ручные гранаты, подожгли вагоны. Отдельные люди выскакивали из пламени, ползли по полотну; их тут же прикалывали штыками.

Все было кончено. Счастливый случай. Опоздай на каких-нибудь полчаса наш отряд, и свет утренней зари не дал бы возможности врасплох захватить большевиков. Решимость Маркова - вот что не было случаем, - смелость и отвага наших людей.

Корнилов убит. Штурм Екатеринодара не удался. Мы отошли. Раненные брошены. В колонии Гначбау настроения тревоги и подавленности. Тяжелый, ночной переход. И напряженность воли, и решимость те же.

В блеске смелого подвига вновь проявился несокрушимый дух добровольцев, тех пятидесяти на улице Ростова, того мальчика в больших солдатских сапогах, с тяжелой винтовкой в слабой детской руке, кадета, который смеялся, когда ему рассказывали сказку.

В памяти моей переход у станицы Медведовской навсегда останется в фантастической картине.

Нагроможденные тучи, темные и мрачные, в разорванных лохмотьях. Красный свет зари и бледный лунный свет. Во мраке чудовище, неподвижное, придавленное к земле, сраженное рукою человека. Дракон, поверженный рыцарем.

Смерть Корнилова - тяжкий удар для нашей армии. Одно имя генерала Корнилова наводило панический страх на большевиков. Они ненавидели его, но еще больше ненависти, испытывали чувство страха.

Мне рассказывали те, кто в то время случайно был на Кубани, как один слух - "Корнилов идет" - приводил в смятение большевистскую толпу.

Везде на станциях, в посздах, только и говору было, что о приходе Корнилова, и не раз поднималась паника даже в таких отдаленных местах, куда Корнилов и не мог дойти. Везде со страхом ждали его прихода.

А в наших рядах его железная рука действовала, как напряженный электрический ток. "С нами Корнилов" - и небольшой отряд в 3.000 становился отрядом непобедимым.

Смерть, постигшая его под самим Екатеринодаром, была тяжелым ударом, но не была гибелью для нас. Дух Корнилова невидимо оставался с нами. Героическая смерть его скрепила наши ряды. Армия не распалась. Во главе встал генерал Деникин. Алексеев продолжал вести нас.

Тело Корнилова и полковника Неженцова были привезены в колонию Гначбау и тайно похоронены.

Появившиеся на следующий день большевики разрыли могилы и по погонам полного генерала опознали Корнилова.

"Тело генерала Корнилова, в одной рубашке, покрытое брезентом, повезли в Екатеринодар".

В городе повозка в"ехала во двор гостиницы Губкина на Соборной площади, где проживали главари советской власти Сорокин, Золотарев, Чистов, Чуприя и другие.

Двор был переполнен красноармейцами; ругали генерала Корнилова. Отдельные увещания из толпы не тревожить умершего человека, ставшего уже безпредным, не помогли: настроение большевизмской толпы повышалось. Красноармейцы вывели на своих руках повозку на улицу. С повозки тело было сброшено на панель.

Золотарев появился пьяный на балконе и, едва держась на ногах, стал хвастаться перед толпой, что это его отряд захватил Корнилова, но Сорокин тоже с балкона оспаривал, утверждая, что труп привезен не отрядом Золотарева, а темрюкцами.

С трупа была сорвана последняя рубашка, раздиралась на клочки и обрывки разбрасывались кругом. Несколько человек оказались на дереве и на веревке стали поднимать труп. Но веревка оборвалась, и тело упало на мостовую.

"Наконец, был дан приказ увезти труп за город и сжечь. Тело было привезено на городские бойни, где, обложив соломой, его сожгли в присутствии представителей власти, приехавших на это зрелище в автомобилях".

"Через несколько дней после расправы с трупом, по городу двигалась какая-то шутовская процессия; ее сопровождала толпа народа. Это должно было изображать "похороны Корнилова". Останавливаясь у пом"еядов, ряженые звонили и требовали денег на помин души Корнилова".

Вот оно, то устремление к поганому, о котором говорил Достоевский.

XVII.

В СТАНИЦЕ ДЯДЬКОВСКОЙ.

Мы в"ехали на широкий двор. Посреди колодезь, обложенный камнем. Белая хата под черепицей. Ряд надворных построек. Скирды сена и соломы. Все убрано, везде подметено. Гуси чинно расхаживают, точно по гладкому полу.

Просторная комната, куда мы вошли, поражала белизной стен, яркостью окраски желтого пола. Мы, запыленные и загрязненные в дороге, внесли в эту опрятно убранную комнату пыль и грязь. Неловко было ступать по блестящему, точно лоском натертому, полу. И хозяева были под стать своему жилищу.

Крупный, дородный старик с типичным хохлацким лицом, без бороды, с вниз опущенными седыми усами, и его жена, маленькая опрятная старушка, в черном платье, приветливо встретили нас.

Я разглядывал коннату. Золоченные ризы икон, одна под другой, занимали весь передний угол. По стенам портреты Наследника Цесаревича Алексея Николаевича и Государя Императора, лубочные картины кавказской войны и какая-то темная гравюра на пожелтевшей бумаге. Я подошел и разглядел ее.

Под дубом изображен запорожец. Пика прислонена к дереву, изогнутая сабля на коленях. Конь с лебединой шеей как будто скачет. Запорожец, сидя под дубом, играет на бандуре.

Старик объяснил мне, что картина эта его деда, а дед на Кубань пришел из Запорожья. На стене висела изогнутая турецкая сабля, обделанная серебром.

"А это чья сабля?" — "Сабля эта турки" — растолковал старий казак. "Дед на дочери турки женился. А турка был здесь за начальника, и место было его, и колодезь при нем был, и камнем выложен. Турка в нашу веру перешел".

Старик принес большой жбан водки, которую он называл горилкой, налил нам по стаканчику, сам выпил с нами и обтер свои густые усы рукавом.

Я стал расспрашивать его про старые времена. Старик помнил еще своего деда. Помер дед ста пяти лет. От деда слышал он, как селились на Кубани казаки-запорожцы.

"Екатерина позвала их" — объяснял старий казак. Говорил он с малороссийским выговором. — "Дити мои! Идите ко мне на Кубань, и вся земля буде ваша вечная и потомственная".

"Потомственная" — наставительно повторил он. "И диди служили черно государни, а после государям служили. И батько мой служил, и я, и сыны мои. И все казаки служили по совести и по присяге. А земля была наша потомственная, как заказала Екатерина".

Рассказал старий казак, как умирал его дед. До самых последних дней ходил на ногах и только работу уже никакую не исполнял. Носил белую рубашу и шаровары белые, и сам был с белыми волосами.

По утру говорит он моей матери: "Куда Петро уехал?" — А Петро, отец мой, уехал в лес дров рубать. — "Я сегодня умирать буду" — говорит дед, а мать ему не верит: ходит по комнате, а говорит, что умрет. Помолился Богу, лег в постель и велит всех позвать. Отец вернулся из леса, и всех, и меня позвали, а я еще тогда малым был, как мой дружок.

Дед крестит всех и прощается. На мою голову руку положил, а отца наставляет страх Божий иметь, начальникам повиноваться, старших уважать и не обижать младших. Мы на колени встали. Дед перекрестился и отошел".

Вот он был, о котором так много говорил Родзиков. "Для народа устав нужен; без устава русский человек пропал".

Где теперь этот старый казак из Дядьковской? Цела ли его белая хата и колодезь, выложенный камнем? Висит ли на стене картина запорожца и турецкая сабля, обделанная в серебро? Рассказывает ли старый дед своим внукам про Екатерину, наставляет ли их?

Или все сгинуло с лица земли, все пошло прахом? И внуки так и не будут знать, как жили и умирали их деды.

"Да здравствует международный пролетариат", "Да здравствует 3-й интернационал". "Да здравствует социализм" — красными буквами на плакатах в городском саду Екатеринодара, на том самом месте, куда на памяти еще живущих людей пришли казаки из Запорожья и на берегу Кубани заложили город "дар Екатерины".

"Дети мои! Идите ко мне на Кубань, и вся земля будет ваша, вечная и потомственная", говорил старый казак в Дядьковской.

"Пролетариат, интернационал, социализм", ревела толпа на Красной улице Екатеринодара и двигалась шутовская процессия, надругаясь над прахом генерала Корнилова.

.....

В СТАНИЦЕ УСПЕНСКОЙ.

В Дядьковской вся пехота была посажена на подводы. Мы быстро стали продвигаться вперед, делая переходы по 60 и 70 верст днем и ночью. Путь наш лежал на станцию Муравскую, где еще в начале марта у нас был бой с большевиками.

Затем переход через железнодорожную линию у станции Выселки, ночевка в станице Бейсугской и далее снова переезд через железную дорогу, остановка в Хоперских хуторах, трехдневный отдых в Ильинской, и оттуда тем же быстрым движением до самой крайней кубанской станицы Успенской, на границе Ставропольской губернии.

Куда мы пойдем — в ставропольские ли степи, или опять на север, на Дон, или свернем на Терек — никто не знал.

Мы помещались в небольшой хатке. Со мной были оба мои сына. Старший присоединился к нам. Его ноги были все в ранах. Младший стал поправляться.

С нами поселился поручик Негребецкий, легко раненный в ногу. Веселый малый был поручик. Все он делал весело и шутя. Весело воевал, весело балагурил из стоянок с молодыми казачками, пугал малюньких татарчат в аулах, смеялся, пел веселые песни на походе. Все ему было нипочем.

Утром я вышел из низенькой двери нашей хаты. Солнце так и обожгло. Глазам больно. Я проспал позднее обычного.

Во дворе, у колодца, оголенный до пояса, полоскался в воде поручик Негребецкий. Лицо, шея медно-красные, резкой полосой отделялись от кожи голого тела спины и плеч, руки точно в темных перчатках. Молодая, красивая казачка поливала его из ведра.

Он, видимо, наслаждался ощущением холодной воды и, протирая лицо руками, балагурил с хозяйкой.

Два мои сына, стоя у колодца, ожидали своей очереди. У них были также веселые, здоровые лица. И весело было глядеть на них.

"Не плачь, дитя, не плачь напрасно", вдруг ни с того, ни с сего зашел поручик, становясь в театральную позу. "Твоя слеза... Доброе утро", прокричал он, увидев меня. "Какое наслаждение. Не хотите-ли воспользоваться?"

"Нет ничего на свете выше холодной воды, а все остальное сущие пустяки. Не так-ли, друг Горацио", понес он вздор, по обыкновению.

Подожел, прихрамывая и опираясь на палку, капитан Рахманов. "Господа, хорошие вести", сказал он весело - "только что виделся с Барцевичем. Прорвался с Дону. Казаки поднимаются. Просят нас к себе на помощь. Говорят, завтра идем в поход".

Все оживились. Капитан подробно рассказал, что ему говорил полковник Барцевич, посланный на разведку и вернувшийся из Мечетинской станции.

"Ура", закричал поручик Негребецкий и даже подскочил, забыв про свою рану на ноге, но тотчас нагнулся от боли.

"Черт ее дерь, проклятая"... "А все-таки, господа, уходить отсюда не хочется" - уже весело обратился он к молодой казачке, присевшей с ведром у колодца.

Я пошел разузнать о том, что передал нам капитан Рахманов. Неподалеку в переулке остановился генерал Алексеев. Я зашел к нему. На крыльце я встретил, помнится, ротмистра Шапрона. Он подтвердил мне все, что мы слышали от капитана Рахманова.

Да, донские казаки подняли восстание. Большевики выгнаны из задонских станиц. Новочеркасск, по слухам, взят казачками. Более двух месяцев мы ничего не знали. Мы были отрезаны от всего мира. Какая радость получить первую и такую добрую весть.

В передней комнате я никого не застал. Генерал Алексеев еще не выходил из своей спальни. Я сел у стола. Дверь была открыта, и я видел, как в той комнате старый генерал стоял перед иконами, долго и усердно молился.

Я видел, как он крестил себя большим крестным знамением, по долгу держа сложенные пальцы у лба, потом он опустился на колени, положил земной поклон, и на коленях, подняв голову к иконам, продолжал молиться.

Я молча ждал. Старый генерал поднялся, перекрестился и вышел ко мне из своей спальни. Выражение лица, как всегда, спокойное. Под нависшими бровями, сквозь очки, глубокий вдумчивый взгляд его старческих глаз. Мы поздоровались.

"Бог не без милости", сказал Алексеев. "Одумались казаки. Заговорили в них совесть. Да как это говорится - "Бог не попустит", прибавил он. Он присел на стул.

"А впереди много, много еще трудов", сказал он, задумавшись. "Идем на Дон. Чуть-чуть полегчало, а там видно будет".

Стали приходить к генералу Алексееву — полковник Кутепов, еще кто-то из офицеров. Я ушел от Алексеева с спокойствием на душе, как будто он передавал другим то, что сам чувствовал.

И теперь, когда я перечитываю письмо Алексеева, написанное четким мелким почерком: "Голова забита и не могу молиться, как я ушел молиться в былые, тяжелые дни моей жизни. Я всегда получал облегчение моему сознанию, моей душе", — передо мною встает образ старого генерала, стоящего на коленях перед иконой в маленькой комнате глухой кубанской станицы.

.....

В С Т Е П И .

Степь ярко зеленела. Это уже не серая, унылая, мертвая степь. На дороге вместо грязи густые облака пыли во всю длину нашего поезда. Кругом, насколько можно было окинуть взглядом, колышущееся волнами, точно безбрежный разлив, степное пространство. И ничего, кроме синего неба и степной травы. Необозримая гладь.

Жаворонки взвиваются и трепещут в воздухе. Придорожные птицы совсем рядом с повозкой порхают. Испуганный заяц сорвется и понесется по лугу, и видно далеко, как он мелькает между кустами бурьяна.

В небе кружатся ястреба. В вышине плавно парит орел. Иногда видишь его на бугорке неподвижным, случилось и совсем близко. Сидит и медленно поводит головой и вдруг сорвется во весь саженный размах своих крыльев и уже далеко, уже в вышине, плавно огибает круги.

Мы едем, а кругом все степь, как безбрежное море. Обоз катится бесконечной цепью повозок. Густые облака пыли до самого горизонта обозначают его путь. Обоз раскинулся на десять перст. Из Ростова мы вышли в составе 500 повозок, теперь их более 1500.

Но так ли в давние времена передвигались степные кочевники: печенег, половцы, татары, и по той же задонской степи. Мы ехали в местах, где течет река Каял, воспетая в "Слове о полку Игореве". И была тогда та же необозримая степь, тысячу лет назад.

Издали виден курган. Мы спускаемся в ложину, и брод переезжаем речку, поднимаемся, и уже близко перед нами встает темный, величиною с гору, курган. Великан одинокий среди степной пустыни.

Обоз катится, огибая курган. В тени у подножья расположились всадники в бурках, кони стоят в поводу. На вершину взойшел кто-то, и его едва видно снизу.

Иррачен и величественен степной великан. Веками веет с высоты его вершины. Это не сторожевой курган. В его недрах таится глубокая, седая старина. Он погружен в свою думу. И что значимы, случайные путники, промелькнувшие мимо по дороге, как вихрь поднятая пыль, для него, простоявшего тысячу лет на этом месте.

Облака пыли несутся по ветру и стелятся над степью до самого края. Мы уже далеко отехали. Скрылся из вида курган.

Мы едем целый день. Привал на каком-нибудь хуторе, а дальше снова в путь. Солнце спускается к закату. Показывается бледный лик месяца с другой стороны.

Над нами печернее небо, окрашенное мягкими красками зари, а кругом засыпающая в дремоте степь, окутанная мглой. Месяц ярко светит в таинственности ночи, а поезд нашего обоза все катится и катится вперед.

XVIII.

Буксирный пароход тянул за собой на канате большую баржу. Баржа переполнена. На палубе разместились люди в шинелях, в военных фуражках, в казачьих папахах, кто в накинутой бурке, кто в одной рубашке, сидели, скучившись, стояли, толкались, пробираясь в толпе; раненные лежали в носилках.

Мы возвращались по разливу Дона в Новочеркасск. Туман, с утра затянувший окрестность, поднялся сизой дышкой над рекою и белыми клубами облаков в небе.

И по мере того, как поднималась завеса тумана, все более и более раскрывалась голубая, как небо, поверхность беспредельного водного разлива. Берег чуть виднеется вдали узкой полоской. Одно светлое голубое озеро.

Мы плыли по тем местам, где в феврале месяце мы пробирались на санях по снежной пустыне в Ольгинскую станицу. Как было тяжело тогда, как светло и радостно в этот солнечный майский день на под-
ном просторе.

Туман исчез. По всей водной глади сверкало солнце, а вдали на самом краю береговой полосы заблестел таким же солнцем золотой купол новочеркасского собора.

Как сейчас, вижу перед собою сияющий в лучах купол храма. Манивший, лучезарный свет. Каким волшебством казалось то, что видел своими глазами.

Вместо снежной пустыни во мгле тумана, голубое озеро и блеск, сверкающий блеск солнечных лучей и в небе, и на всем водном разливе. Вот она, наша родина, возвращенная к жизни и к свету.

Мы подходили к Старо-Черкасской станице. Все залито водой — и улицы, и переулки. Лодки подплывают к домам; на сваях каменные постройки; между ними бурлят потоки. Баржи рядом с домами. Зеленые вершины потопленных деревьев. Всюду движение, всюду жизнь.

Пароход свернул влево и потянул за собой нашу баржу. Мы плыли по протоку. Берег, чуть выступающий из воды. Лес камышовых зарослей. Вершины деревьев, как зеленые острова среди быстро текущих вод. А с другой стороны — все та же голубая, водная ширь.

Мы подходили к Аксаю. Зеленые холмы, то опускаясь, то поднимаясь, тянутся грядой вдоль берега. Белые хаты, ярко-красные крыши. Сады в белом цвete на яркой зелени.

Акса́, где зимой генерал Корнилов перешел Дон, направляясь в кубанский поход. Вот пристань, станционные постройки. А дальше виднеется Кизетеринка. В ноябрьскую ночь, в мять, там были бои. Да точно, те ли это места?

Вдали показались белые дымки, один, другой, вспыхнул третий. Длинной, движущейся лентой катился по спуску поезд. И было весело глядеть на белые дымки, стлавшиеся по небу.

В походе, всякий раз, как показывался дымок, с тревогой увидишь его. Это был сигнал, тотчас следовали разрывы снарядов. Теперь среди атих мирных берегов мчащийся поезд веселил глаз, точно детская игрушка. Мы подходили к берегу. Поезд скатился и остановился у станции.

Но что это такое? Какие-то солдаты в касках, в сизых мундирах офицеры, не наши, не русские. Один из них, стоя на площадке вагона, наводит на нас бинокль. Из окон выглядывают безкозырки с красным околышком.

К берегу ведут лошадей за узды. И лошади не наши, крупные, с подстриженными хвостами и гривами. И так же необычны ведущие их солдаты в безкозырках. На барже все смолкло. Перед нами немецкий эшелон. Чей то один голос произнес ругательства. Все молчали.

В Новочеркасске я тотчас стал разыскивать мою семью. Я зашел на квартиру, где я их оставил. Жена и моя дочь уехали. Значит, они спасены. Но где они, я не знал. Дочь моя вернулась из Москвы через месяц. С женой я не виделся около двух лет.

Из знакомых в Новочеркасске оставалось неенного. Уехали Трубецкие, Лермонтовы, Струэ, Федоров. Осталась семья Гагариных, Лошкарёвы, Новосильцевы.

Тяжелые рассказы пришлось слышать в Новочеркасске. Мученически погиб Митрофан Богаевский. Голубов со своим отрядом захватил его в одной из станиц и привез в Новочеркасск. Казаки любили Богаевского. Голубов не решился его убить. Болаше того, Богаевскому разрешили выступить перед собранием.

Три часа его влохновенное слово звучало среди переполненной залы. Он, который так горячо любил Дон, любил свои донские станицы, своих казаков, все свое родное, в эти три часа излил все, что было у него на душе, поред смущенными, растроганными, взволнованными слушателями.

Люди плакали, клялись не выдавать его. Это была его предсмертная, лебединая песнь. Пришел карательный отряд из Ростова. Богаевский был выдан, увезен в Ростов и расстрелян на бойнях.

Золошинов вместе с другими был поставлен под расстрел. Случайно он не был убит: израненный, ночью подполз он к ближайшей хате и просил дать воды.

Женщина, к которой он обратился, пошла к большевикам и выдала его. Он был заколот пришедшими красногвардейцами у порот того дома, к которому дополз, истекая кровью.

В лазаретах сестры спасали раненых, скрывали их, заготавливали подложные паспорта, выносили на своих руках и прятали в частных домах. Не всех удалось спасти. По ночам молодые девушки ходили разыскивать тела убитых среди мусорных ям, выносили их, чтобы предать погребению.

Обыски, аресты, грубые выходки красноармейцев, врывавшихся и днем, и ночью в частные дома, и убийства. Убит граф Орлов-Денисов, убит генерал Усачев, убит Орлов.

Когда-то я знал его маленьким мальчиком в коротких штанах, с голыми коленями. Розовый, пухлый, он был веселым мальчиком, любил игры, шалости. Я встречал его за границей. Мы ездили с ним на лодке по Женевскому озеру.

Незадолго до ухода в кубанский поход, я видел его в гостинице в Новочеркасске за столом, в генеральском мундире.

Тот ли это Иван Орлов? Тусклый взгляд, унылый вид. Он был как-то, полк его разошелся по домам. Сам он едва избег самосуда. И вот убит. Его истязали, на плечах выгнали погоны раскаленным железом.

"Слышать не могу грохота автомобилей" — говорила мне одна знакомая. — "Как загудит, так и кажется, что вот остановятся у дома и ворвутся к нам".

Другой признавался, что его пробирает дрожь при одном виде грузовика: так и кажется, нарочно свернет, чтобы раздавить, кто ни попадись, под смех и гиканье пьяного солдата.

Заходил к Марии Николаевне. Она спасала своего больного падочного мужа и двух маленьких детей. Скольких усилий, какой нравственной муки стоил ей ее никому неизвестный подвиг. Скованная своей семьей, она не могла пойти с нами в поход. Но сердце ее горело патриотизмом. Это была сестра кубанского похода.

Нашел я в Новочеркасске и многих спасенных наших раненых — Новикова, Потоцкого, Карлинского с раздробленной рукой. Он ни о чем и слышать не хотел, сейчас же в полк, хотя правая рука и висела на перевязи.

Вся эта молодежь рвалась в бой. А, ведь, их оставили ранеными в лазаретах, и они испытали этот ужас.

Видел я в Новочеркасске и офицеров-дроздовцев, пришедших за полторы тысячи верст, с румынского фронта. И в них тот же несомненный, крепкий дух.

Все, кого мы не встречали в Новочеркасске, несмотря на все, что пришлось пережить, несколько не были подавлены, напротив, — полны сил и уверенности. Не было и тени упадочных настроений.

В Новочеркасске я не видел этих пришибленных судьбою людей, каких мне так часто приходилось встречать впоследствии.

Да, это были хорошие дни. Мы уже не были одиноки. Поднималось войско донское. Собрался круг спасения Дона. Была весна пробуждения казачества.

Я приезжал в Ростов. Виделся с Милуковым. Он жил в глухом переулке Захичевани, скрываясь при большевиках под именем Зайцева.

Я застал его за письменным столом, обложенного книгами, папками и исписанными листами бумаги. Он выпрашивал меня сухо, педантично, с самопишущим пером в руке, делая свои пометки в тетради.

Все, что я говорил, было для него историческим материалом, который он кропотливо собирал, я уверен, также точно и в те дни, когда большевики производили свои зверства в Ростове. К впечатлениям он был не восприимчив.

В то время он уже составлял новый план политической комбинации с ориентацией на немцев, о чем вскоре и напечатал в одной из ростовских газет.

Заходил и к одному присяжному поверенному, игравшему в городе большую роль при Временном Правительстве. В квартире его, когда-то с большим вкусом обставленной изящными вещами, был полный хаос. Все валялось в беспорядке. Хозяин был в отчаянии.

В пессимистическом настроении он ни о чем не думал, был исключительно поглощен приведением в порядок своей квартиры, отыскиванием фарфоровых чашек, акварелей и гравюр.

Кто-то мне сказал, что один из его помощников, став коммунистом, разворовал вещи из квартиры своего патрона.

Адвокат этот принимал некоторое участие в добывании средств для генерала Алексеева; сейчас он слушал меня рассеянно. Мысль его витала где-то в другом месте.

— Подумайте, какое варварство — вдруг неожиданно прервал он меня. — Это вандализм, вандализм — повторял он, думая, очевидно, о своих картинах и разбитом фарфоре. Я простился и ушел.

Заходил я по дороге к одному энскому директору банка. Этот уже прямо и откровенно выражал свое восхищение перед немцами: как они вошли, какой порядок, какая дисциплина, какая дисциплина — точно из железа вылиты люди; во всем видна другая раса.

— Нет, и не говорите: только немцы могут для нас что-либо сделать, и никто другой... никто — утверждал он.

Я прошел по Садовой улице. Такая же толкотня на паноях; по летнему разодетые дамы; музыка гремит из открытых окон кинематографов; входят и выходят покупатели из магазинов; трещит, проезжая, трамвай; гудят автомобили.

Я зашел в кафе. Полно посетителей. За столиками разряженные и оголенные женщины. Звуки оркестра среди говора, смеха, стука посуды, шума. Все так же.

Ново только одно — германские офицеры у окна, в их мундирах с палашами, в фуражках с маленьким козырьком. Они сидят чинно за отдельными столиками в том самом кафе, мимо зеркальных окон которого в январе месяце проходила 3-я рота офицерского полка. На площади я видел марширующий германский полк.

Впереди на коне с коротко подстриженной гривой и подстриженным хвостом, полковник в эполетах и в черной каске, с золотым прусским орлом.

Солдаты в стройных рядах один, как другой; офицеры, подтянутые в их мундирах, в сапогах, точно лакированных, с обнаженными саблями, блестящими на солнце. Что это — войска на параде или на походе? Грянула полковая музика.

Уличные мальчишки бежали, теснилась на панелях толпа, та же уличная толпа, которая на той же Садовой улице в декабре встречала с ликованием въезд атамана Каледина, криками приветствовала вступающих большевиков, а теперь теснилась и бежала за полком германских солдат.

Полная и низкая людская толпа. Я помню рев толпы вечером на улицах Москвы в тот день, когда шел погром германских магазинов. Толпа! Что может быть отратительнее толпы?

Лохматое тело зверя с подобием человеческой головы. Толпа сделала русскую революцию. Вооруженная толпа, науськанная на своих офицеров. Толпа везде одна и та же.

Толпа, рукоплескавшая в римском цирке бою гладиаторов. Толпа, стекавшаяся глядеть на растерзание людей дикими зверями.

Толпа в древней Византии, коленопреклоненная при пышном шествии императора-победителя, окруженного воинами с мечами, и та же толпа, бросающаяся выкалывать глаза низверженному, пытать его детей, грабить и сжигать дома его приближенных.

Я помню несметную толпу на коленях, с хоругвями, с знаменами на площади перед балконом Зимнего дворца, и помню толпу на Садовой улице в Ростове в июле месяце 18-го года.

"Смерть Николая Романова" — кричали разносчики уличных листов, пробегая по тротуару.

Прохожий остановится, возьмет листок или пройдет мимо, и все спешат в свои конторы, в торговые склады, за покупками в магазины, в кафе, в кинематографы.

"Смерть Николая Романова" — раздается крик среди толпы, равнодушной ко всему на свете, кроме своих развлечений, своих покупок, торговых оборотов, наживы и спекуляции.

До сих пор в ушах моих звенит этот крик. Я никогда его не забуду, я не забуду уличной толпы на Садовой в Ростове.

Как я люблю Новочеркасск. Он дорог мне, как дороги наши старо-дворянские города, эти тихие уголки, откуда вся эта шумная, трескучая жизнь стекала в крупные, торговые центры.

Они полны для меня самых теплых воспоминаний. Вест покоем и деревенской тишиной в их улицах и маленьких переулках.

Церковный звон не заглушен шумом, треском колес и говором толпы, и в вечерний час своим плавным звуком будит в душе тихие чувства молитвы.

На обширной площади величественно возвышается кафедральный собор с золотым куполом. Атаманский дворец, окруженный тенистым садом. Белая комната здания присутственных мест. Военное училище. Институт благородных девиц. Донской кадетский корпус.

Зот главные здания. Нет разукрашенных фасадов банковских домов, "Палас-Отелей", ни зеркальных стекол роскошных ресторанов, нет торговых складов, не слышно гудков автомобилей, ни треска трамваев, ни гама уличной толпы. Среди садов стоят особняки, окруженные дворовыми постройками.

Александровский сад по воскресным дням оживляется веселой гурьбой подростков в ученической форме, а в будние дни сидит на скамеечке всегда на том же месте старый, заслуженный генерал.

И всякий, кто не пройдет, все с ним здороваются, и генерал приветливо покачивает головой, кой с кем заговаривает. Все старые знакомые, каждый день проходящие по той же дорожке бульвара.

Скажут, что все это отжившее, прошлое. Но где же то новое, что идет на смену старому? Ростов с его банками, с душой из социалистов, с газетными листками, с рабочими демонстрациями и с уличной толпой? Нет, в этом чаду человек задыхается.

Новочеркасск переживал героические дни. Старая казачья доблесть пробудилась в донцах — старина, но не та необузданная стихия дикой степи, а старина служилая, верная своему долгу, надежная опора русского царства.

На площадях, на перекрестках улиц не видно сборищ злобной толпы, по тротуарам не патаются шинели с оборванными погонами, не слышно среди собравшейся кучки выкриков революции, не слышно бесшабашной стрельбы из ружей по ночам.

Проходят полки, в их старой казачьей форме, греют колесами по мостовой тяжелые орудия и зарядные ящики, на площадях идет обучение новобранцев, и каждый день видно, как они упражняются в ружейных приемах, ложатся в цепях, перебегают и строятся в ряды. Новочеркасск стал военным лагерем.

.....

XIX.

Офицерский полк был отпущен в Новочеркасск на отдых, и я жил с двумя сыновьями у Татьяны Ивановны, матери Гриши, чернецовского партизана, раненого в нашем походе.

Какая это была прекрасная женщина Татьяна Ивановна. Высокого роста, цветущая здоровьем, годами уже немолодая, но казавшаяся молодой, хотя у нее было шесть человек детей и были внуки от старшей дочери.

Муж ее был прасолом, человек слабый, склонный к спиртным напиткам. Весь дом и всю семью держала на своих плечах Татьяна Ивановна. Дочери учились в гимназии, Гриша в реальной училище. Сама она, не знаю, была ли даже грамотная.

Но по разуму, по уменью понять, трудно было отыскать кого-либо, кто сравнялся бы с Татьяной Ивановной. Она ясно понимала, что честно и что бесчестно.

Это она отпустила Гришу в партизаны к Чернецову. Она сказала ему идти с нами в поход. Без ее слова сын ничего не делал. И все просто. Благословила его домашней иконой, перекрестила, обняла и отпустила в поход без полнений и без слез. Так нужно было.

Теперь он вернулся домой, рана его заживала. Было радостно глядеть на мать и на ее сына. В это время Гриша все думал, как ему поступить—готовиться к выпускному экзамену или оставаться на службе? По годам он не обязан был служить: ему еще не минуло 18-ти лет. Он советовался с матерью и ко мне обратился с тем же.

Я высказал мое мнение, что следует кончить гимназию. То же говорила ему и Татьяна Ивановна, и он тут же принялся усердно за книги. Гриша был весь в свою мать: то же открытое лицо, те же честные, добрые глаза.

Татьяна Ивановна все делала своими руками: и на кухне готовила, и комнаты убирала, и белье стирала. Но хозяйственные заботы не поглощали ее всю. Сколько она делала добра всем окружающим! Для наших добровольцев она готова была все отдать. Она была отзывчива на все доброе. Простая русская женщина была Татьяна Ивановна.

Отец был толстый, рыхлый. Ходил он в русской рубашке с растегнутым воротом и, несмотря на это, постоянно потел и вытирал лисину красным платком. О большевиках он вспомнить не мог без полнения. Он был посажен в арестный дом и, главное, ему не давали по-есть, кормили какой-то бурдой.

— "Тьфу! тьфу!" — плевался он. — Окаянные! Принесут помои, да еще смеются. "Тебе, говорят, толстопузому, это на пользу". Кабы не она, с голоду помер".

Это Татьяна Ивановна и осила ему из дома пищу, подкупая красносарейцев. — "Чтоб им пусто было. Тьфу! Тьфу!" — вспоминал он большевистские харчи и весь в поту обтирался платком.

По утрам /мы вставали поздно, отсыпаясь за прошлое время/, к нам в комнату, тихонько приотворяя дверь, пролезал десятилетний Павлуша, сын Татьяны Ивановны.

— "Вы не спите?" — спрашивал он, прокрадываясь к моему младшему сыну, лежавшему на полу, и тотчас направлялся к углу, где стояла винтовка. Он поднимал ее обеими руками и долго возился с ней.

— "Ты из нее как же стреляешь?" — спрашивал он. "И ты не боишься, ничего?" — он говорил ему "ты", считая его таким же мальчиком, только постарше годами.

Оставив винтовку, он залезал в большие сапоги своими маленькими, разутыми ногками и ходил, шлепая ими по комнате. Каждое утро до чая он проводил с нами и выходил с нами, держась за руку моего младшего сына. "Солдат с ружьем" — и он воображал себя таким же солдатом.

Собрались мы со всею семьею. Готовила Татьяна Ивановна. Иногда приезжала старшая дочь, замужем за священником в одной из окрестных станиц, и привозила к бабушке трехлетнюю внучку.

К нам приходила молодежь, и вечера мы проводили в саду, где цвела сирень. Кто другой отнесся бы к нам с большим участием и радушием? А кто ми были для Татьяны Ивановны? Чужие ей люди, сегодня пришли, а завтра уйдем. А она заботилась об нас, как о родных.

Об этой времени, когда мы жили у Татьяны Ивановны с моими сыновьями, я вспоминаю и сейчас, как о проблеске света среди темных туч, нависших над нами. Таких светлых дней уже больше не было.

Нас позвал к себе полковник Янов. Как памятен мне этот вечер. Белый дом, выходящий парадным крыльцом на площадь и большой крытой террасой в густой заросший сад.

Лестница спускалась в аллею, где посыпанная песком дорожка исчезала в темноте под сводом старых деревьев. Я сидел с седым полковником на террасе. Лунный свет. Таинственные ночные тени. Душистый запах акаций.

Освещенные окна из зала раскрыты. Знакомые звуки вальса. Наша молодежь — две княжны Гагарины, подростки — дочери полковника Янова — все в белых платьях; офицеры, такие нарядные в их пресб-раженской форме, мелькают в ярко освещенном зале.

И вспомнилась мне моя усадьба в деревне. Балкон с белыми колоннами. И такая же лунная ночь, и те же звуки музыки, и мои маленькие дети. Что это, во сне пригрезилось?

И теперь, когда я сижу в небольшой комнате на окраине города, для меня чужого, передо мной рисуется, как светлое виденье, эта терраса белого дома, этот темный сад при бледном, лунном сиянии, звуки рояля и веселые лица молоденьких девушек и моих двух мальчиков.

Не много было у них радости в жизни. Напрасно загубленные, молодые жизни! Стоит ли даже крест над их могилой? Напрасно! А что, если бы не поднялся никто?

На наших глазах топтали, душили, мучили. И не нашелся бы ни один человек, кто поднял бы руку? Да, наконец, спасли ли бы мы молодые жизни?

Не погибли ли бы они так, как погибли те, кто остался в Ростове? Те другие, которые скрывались, прятались; их ловили, хватали и убивали. Нет, не напрасно и не случайно. Так должно было быть.

Не случай то, что они пошли в поход, — они не могли не пойти. Не случай то, что с ними шел старик Алексеев. Не случай — героическая смерть Корнилова. Не случайно уцелели эти три тысячи, казалось бы, обреченные на гибель.

Они прошли тысячу верст. К ним подходили все новые и новые люди, но это были они, все те же дети Кубанского похода. Они, все те же 50, вновь пошли на Кубань, взяли с боя Екатеринодар, освободили Кубанскую область.

В тяжелых боях бились под Армавиром, под Ставрополем, разгромили сотенную армию, очистили весь Северный Кавказ.

Они повернули на север, оградили своею грудью Дон, взяли Царицын, освободили Харьков, Киев, Курск, Орел. Они подошли к Москве.

Они, эти дети, гибли от сибирского тифа, гибли, брошенные в оставленных городах, гибли, захваченные большевиками.

И они выдержали. Выдержали провал Новороссийска и вновь победили в Крыму, показали, что их нельзя сломить.

Говорят, что мы, начав с такой высоты, упали и своими руками загубили в грабежах и погромах белое движение.

Ссылаются на Шульгина, на его слова: "Начатое почти святым, загублено почти бандитами". Жесткие слова. В них есть своя правда. Да, были грабежи, были погромы. Но сказать, что армии превратилась в бандитов и грабежами загубила все наше дело — это неправда.

То, что говорит Шульгин, относится к одесскому крушению. Такие же явления наблюдались и при отходе армии от Харькова, от Ростова и при катастрофе в Новороссийске, когда, казалось, всему наступил конец.

Было отчего придти в отчаяние. Люди кончали самоубийством. То, что сказано Шульгиным, доказывает, что и он впадал в упадочные настроения.

Но когда этим криком отчаяния, вырвавшимся из наболевшей груди, пользуются, чтобы очернить все белое движение, то это становится неправдой — злонамеренной клеветой.

Белое движение не загублено в грабежах и насилиях. После Новороссийска мы имели Крым, после Крыма — Галлиполи, после Галлиполи — всю страну в Болгарии и в Сербии.

Да разве вы не видите: Кубанский поход продолжается. Зажженный светоч не погас. "Мы идем в степи, вернемся, если будет милость Божия".

Говорят о еврейских погромах. Но погромы были и при большевиках, и при украинцах, и при немцах, и вовсе не белая армия несла с собою погромы.

Были, конечно, случаи погромов и при вступлении добровольцев в еврейские местечки. Этого мы не отрицаем. Но никогда погромы не происходили с ведома и разрешения командного состава, а напротив — всегда пресекались властью.

При всех этих толках о гонениях на евреев мне приходит на память следующий случай.

Мы возвратились на Дон. Я зашел как-то к одному знакомому в Ростове. Он рассказывал про наш поход. Тут же за столом сидел старик, молча и внимательно слушал. Мы вышли с этим стариком на улицу. Он сказал мне: "И мой сын был с вами в походе. Он не вернулся". Сколько я не уговаривал его не идти, и показывая на всю эту шумную толпу на улице, старик продолжал:

"Ведь, ты им не нужен. Зачем ты будешь жертвовать собой для них? Они тебя ненавидят. А он все-таки пошел, и вот убит" — старик говорил, и тяжело было слушать его.

Этот мальчик был еврей. Жертва его является самой возвышенной жертвой. Своей чуткой душой этот юноша-еврей угадал белую мечту. Он понял. И жертва его была живым свидетельством, что в белом движении было нечто, захватывающее человеческое сердце.

Жертва его не напрасна. Он, этот юноша-еврей, убитый в Кубанском походе, сделал больше для своего народа, чем все лиги борьбы с антисемитизмом. Погромщики! А в рядах погромщиков умирает еврей.

Когда мы вернулись на Дон, газеты, те самые ростовские газеты, которые обличали нашу молодежь в контр-революции и направляли на нее уличную толпу, теперь трубили о "походе титанов", называли Кубанский поход "Ледяным походом".

Ничего титанического в нашем походе не было, а во льду мы были всего один день — при ночном штурме станицы Ново-Дмитриевской.

И не идет совсем это вычурное название к тому, что было. А было, в сущности, то же самое, что и в боях на Дону. Вот эти пятьдесят офицеров, проходящих в городской толпе по ростовской улице.

Какие же это титаны? Капитан Зейме, Валуев, Ратков-Рожнов, полковник Моллер.

Какой титан больной старик Алексеев? И что титанического в этом мальчике-кадете или партизане Грише Петренко? Нет, какие же они были титаны!

А я скажу вам — "Они больше титанов". Теперь, когда подумаешь, против какого чудовища они поднялись, то то, что они совершили, кажется невероятным, легендой, вымыслом о том, чего не было.

Н.Н.Львов.